

МИРОСЛАВ БОБРОВ



ОТТЕНКИ
I

Мирослав Бобров
Оттенки. Книга 1

«Автор»

2026

Бобров М.

Оттенки. Книга 1 / М. Бобров — «Автор», 2026

Ему было тринадцать. В мире, где все цвета давно угасли и остались лишь Свет да Тьма, он оказался Тёмным – и был таким с самого рождения. Почему его Сосуд хуже других, Рендар не знал. Он знал только, что в мире, где победил Свет, таким, как он, места нет. Его терпели, пока был жив отец – единственный, кто заслонял мальчика собой. А потом не стало и отца. И маленький Рендар остался один – без защиты, без права на ошибку, под взглядами, что ждут от него только худшего. Отсюда и начинается его путь: через травлю, голод и страх, через первую кровь и бегство в чужие земли. Путь мальчика, которого называли злом раньше, чем он сам успел понять, кто он на самом деле. И прежде чем всё закончится, Рендару придётся узнать, что же случилось с его миром, и почему в нём всё кажется неправильным.

© Бобров М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог. Бегство. | 5 |
| Часть 1. Глава 1. Серый день | 7 |
| Часть 1. Глава 2. Тишина | 13 |
| Часть 1. Глава 3. Без щита | 17 |
| Часть 1. Глава 4. Наказание | 23 |
| Часть 1. Глава 5. Ясный | 31 |
| Часть 1. Глава 6. Кровь | 39 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 46 |

Мирослав Бобров

Оттенки. Книга 1

Пролог. Бегство.

Я бегу, бегу, бегу! Кажется, что уже не помню, откуда, зачем и почему, но понимаю, что ничего другого уже не осталось. Только бежать. Только вперёд!

Чёрный ночной лес встретил меня прутьями какого-то кустарника, раздражающими кожу на лице и руках. Закрываюсь локтями и продолжаю бежать. Пути назад нет!

Дыхания не хватает, и мне порой кажется, что я уже и не дышу вовсе. Каждое движение отдаётся глухой болью, а до крови сбитые о стерню ступни уже не просто стреляют в спину, но на живую выдирают нервы из моих ног. Дыхания не хватает, но это и хорошо. Я бы кричал, кричал, возможно, даже плакал, но не могу издать ни звука, и внутри – пустота. И воздуха нет, и сил нет, ничего нет! Я один, и у меня не осталось ничего, никакого выбора. Только лес, следы и погоня, от которой я пытаюсь уйти.

Отец всегда говорил, чтобы я не сдавался. Терпел, не лез на рожон, никому и никогда не давал повода – да! Но не сдавался. И плевать, если я задохнусь, плевать, если просто рухну на землю и не смогу подняться, но так или иначе я не сдамся.

Прости меня, папа. Я нарушил все твои заветы, и сам не понимаю, как так вышло, но я сделал всё наперекор тому, чему ты меня учил. Не знаю, что бы ты сказал мне сейчас, как не знаю, сказал бы ты вообще хоть что-то. Возможно, ты и сейчас не смог бы найти слов, но мне их и не нужно. Я знаю, что я сделал, как знаю и то, что пути назад уже нет.

Нельзя оглядываться, нельзя даже смотреть назад! И пусть мне кажется, что на самом деле никакой погони нет, пусть мне кажется, что я могу сесть, расслабиться и отдохнуть. Перевязать ступни, умыться, отдышаться! Но это всё иллюзии, обман чернильной ночи. И стоит мне остановиться, как что-то обязательно догонит меня. Что-то большое и тихое, подкрадётся ко мне и лишит разума. Или чего-то ещё, возможно, того единственного, что всё ещё делает меня человеком. Пусть Тёмным, пусть ненужным и неправильным, но всё же человеком. Я точно знаю, что стоит мне остановиться, стоит только оглянуться, как часть меня обязательно умрёт.

Умрёт, и в этой смерти не будет крови. Не будет того самого короткого и оборванного крика, не будет липкого и острого запаха страха. Не будет чавкающего хруста, с которым трескаются кости. Если во мне что-то умрёт, оно умрёт тихо, и не оставит ни следа.

И никто потом не будет убегать, стараясь запутать следы, стараясь спрятаться и выжить. И никого, никого не будет по пятам преследовать презрение к себе и бесконечный стыд.

Прости меня, пап. Не знаю, как так вышло. Что обуяло меня и что это за наваждение затмило мои мысли. Рука сама пошла вперёд, и о чём-то подумать я просто не успел.

Я падаю. В антрацитовый мгла беззвёздной ночи спотыкаюсь о корни и продолжаю ползти уже на коленях. И кажется, будто бы сил уже не осталось, что встать я не смогу, но всё же пытаюсь. Смотрю на свои руки и не могу пошевелиться.

На них что-то тёмное, липкое, вязкое. Как бы мне хотелось, чтобы это была грязь. Пытаюсь вытереть. О рубаху, потом о штаны, вновь о рубаху, но пятна не сходят. Ладонь о ладонь – не мытьём, так катаньем, до жжения, до боли, но даже во мраке безлунной ночи я вижу, что на ладонях остаются следы.

Я знаю, что это, знаю, помню и понимаю. Тот удар, тот самый момент, когда рука сама сделала одно короткое и простое движение. Я ведь старался, пап, правда, старался. Не знаю, как так получилось, но вот они – мои руки. Скребут по земле, чтобы я мог ползти и не оставаться на месте, вот они! Вот! В земле, в грязи и пятнах, в каплях, подтёках! В крови

Сколько ни три, сколько ни вытирай, какие-то вещи уже не исправить. Не склеить, не починить и не Не залечить

Он мёртв, мёртв, и с этим уже ничего не поделать, а мои руки теперь в крови. Хотелось, хотелось бы верить, что вода всё исправит. Вон она, река, Тихая, моя давняя безразличная подруга. Ещё, казалось бы, совсем немного! Совсем чуть-чуть! Я окунусь в неё, переплыву, чтобы меня никто и никогда не нашёл, запутаю следы и постараюсь, сделаю всё, чтобы меня потом не догнал тот самый стыд, от которого внутри всё сгорает, как в лесном беспощадном пожаре

Но моя знакомая и вялотекущая река встречает меня рокотом, шумом и плеском волн о прибрежные камни. Я никогда не знал, что моя спокойная подруга умеет злиться. Был ли я тому причиной? Но угольно-чёрная река встречает меня рычанием прибоя и бурным течением ещё только днём спокойной воды.

Стою на берегу, пытаюсь осознать и осмыслить произошедшие изменения со стихией. Пожалуй, нет ничего удивительного, что даже река для меня стала чужой. Я Тёмный, и, наверное, когда-нибудь мне нужно будет с этим смириться. Смириться и понять, что даже природа в этом мире настроена против меня.

Именно на берегу столь недружелюбной ко мне Тихой реки я понимаю, что дышать больше не могу. Сажусь на камень и опускаю истерзанные ноги в воду. Ледяная вода ожогом обдаёт по ступням, и лишь через мгновение начинает ощущаться целительной прохладой. Нет, что-то в этом мире не так. И всё – не то, чем кажется. И даже вода, изменившая своё течение, лишь смотрит на меня с угрозой, но на деле – всё та же безразличная и тихая подруга. Приди на моё место кто-нибудь другой, и, наверняка, она бы с тем же усердием успокоила и его боль.

Только сейчас я понимаю, что последние секунды я что-то сжимаю до боли в кулаке. Разжимая ладонь, нахожу в ней ту самую подвеску, что вырезал мне отец. На той же руке повязан шнурок, хранящий мою память о матери. И на той же руке, среди побелевших следов от вмятых в кожу углов подвески, я всё ещё вижу те самые пятна.

Недолго думая, я всё же опускаю руки в воду. Пытаюсь смыть, пытаюсь вытереть, забыть, но нет. Я заслужил эти следы, и это бремя, эта кровь, видимо, теперь будет со мной всегда. И, как бы ни был я одинок, наверное, теперь мне никогда не выдастся побыть одному.

– Что я наделал?

Часть 1. Глава 1. Серый день

Это была моя последняя жизнь. Я это знал так же точно, как знал, что огнём можно обжечься, а вода в реке мокрая. Нет, не верил, не думал, не предполагал, я именно знал. Каким-то неведомым чувством, которое невозможно описать словами. Однажды я попытался рассказать об этом отцу, а он обнял меня, похлопал по плечу и сказал, чтобы я не волновался. Сказал, что души бессмертны, что одни возносятся, а другие возвращаются. Потом он осёкся, нахмурился и замолчал. Он сказал, что только Свет знает, какой путь будет дарован каждому. А мой Сосуд был Тёмным, самым тёмным в Кряжистой, и папа это знал лучше всех. Больше мы об этом не говорили. Незачем было, ведь ничего бы не изменилось, а расстраивать отца я не хотел.

Мне тринадцать лет, я живу в деревне Кряжистая, и я ненавижу каждое утро, потому что утром начинается всё то же самое. Двадцать с небольшим домов, каменные стены, сланцевые крыши, пепельное небо над головой. Здесь всё состоит из оттенков серого. Земля – пыльно-серая, выцветшая. Небо – свинцовое. Стены – графитовые, в пятнах сырости. Лица – мраморные, будто пылью припорошенные. Говорят, давным-давно мир был другим, ярче, что ли. Но это сказки, а сказкам я не верю. Верю тому, что вижу. А вижу я пыль на дороге, тусклое утро, тот же дым из труб, что был вчера, позавчера, и все тринадцать лет до этого.

Каша была, как всегда, густая, мутная и безвкусная, сваренная рукой, которая знала меру во всём, что касалось меня. Мачеха готовила её каждое утро с одинаковой старательной небрежностью, выдавая ровно столько, чтобы отец не заметил, что я недоедаю. И ни капель больше. Не плохо, не хорошо. Никак.

Мачеха поставила папе миску и задержала руку на его плече, мягко, почти нежно. Я в который раз подумал, что в ней живут две разные женщины: одна, способная на тепло, предназначенная для мужа, а другая, жёсткая, сухая, обращённая ко всему остальному миру. Я был «остальным миром». Мне миску она поставила молча, не глядя, и отдернула пальцы, случайно коснувшиеся моего запястья. Так резко, брезгливо, словно Тёмный Сосуд был заразным и можно было подхватить эту гадость.

Отец ел молча, согнувшись над миской, и мне иной раз думалось, что он не кашу черпает, а придерживает стол, чтобы тот не уплыл. Он, и правда, как будто всё время что-то удерживал, не руками даже, а всем телом, спиной, шеей, и вообще всем тем, что он делал: как сидел, как ходил, как стоял в дверном проёме, заполняя его целиком. Большой человек, ставший тихим не по характеру, а по обстоятельствам, и от этого казавшийся ещё больше, как дерево, которое перестало расти вверх и начало расправлять крону.

Он заметил, как мачеха отдернула руку, но ничего не сказал, только посмотрел на неё долгим и тяжёлым взглядом, отчего она отвела глаза. Так мы и жили: пока папа рядом, мачеха молчала, потому что рядом с ним нельзя было быть той, другой. Она это знала, и он это знал, и даже я это знал, хоть мне было всего тринадцать.

Иногда отец смотрел на меня и замирал на секунду, не больше, потом моргал, улыбался одним уголком губ и отводил взгляд. Деревенские часто шептались, будто бы я был похож на мать. Может, и был, только я не знаю, на кого похож, потому что портретов у нас не делают. Вот и получается, что был когда-то человек, а потом он умирает и от него остаётся лишь память, а память со временем блёкнет и сереет, как всё в этом мире. И даже самые яркие люди однажды становятся похожи на кашу, которую я ел каждое утро. А каша была никакой.

– На охоту собираюсь, – сказал он не мне и не ей, просто обозначив свои намерения. – До вечера.

Мачеха молча кивнула. Отец встал, взял копьё у двери и обернулся, задержав на мне тот самый взгляд, в котором мелькало что-то, чему я не мог подобрать слов, что-то тёплое и тяжёлое одновременно, как будто он хотел сказать больше, чем мог.

– Не жди к обеду.

И вышел.

Дверь закрылась, а мачеха посмотрела на меня, всего секунду, но в этой секунде поместилось всё. Без мужа рядом её лицо преобразалось мгновенно: губы делались тоньше, глаза острее, словно проявлялась изнанка, спрятанная до поры за тканью приличия. Она не просто ненавидела меня, это было бы слишком просто, нет, она была убеждена, что я причина всех бед, и стоит убрать меня, как всё наладится. Это была не злоба, а холодный расчёт! А это намного хуже обычной злости.

– Пошёл на улицу, – даже не бросила она, а прошипела. – С глаз моих. В тень свою иди.

Как и всегда ранее, я не стал спорить. Натянул свою мышиную куртку, почти полностью покрытую заплатками, и вышел из дома.

Деревня уже проснулась, хотя, наверное, «проснулась» – не самое подходящее слово, потому что Кряжистая никогда толком не засыпала и никогда толком не просыпалась, а просто существовала в этом вязком промежутке между одним и другим. Пожалуй, камень, погружающийся в ил на дне реки, чувствует себя так же. Сперва чистая и медленно текущая вода сменяется вязкой и липкой гнилью, а потом тебя утягивает куда-то вглубь, и ты уже не знаешь, в какой момент что-то пошло не так и холодные струи чистой воды уже проходят высоко над тобой. А тебе только и остаётся, что просто существовать и опускаться всё ниже. Дым тянулся из труб жидкими сизыми нитями и расплзался по улице, цепляясь за заборы и крыши, разнося запах золы и чего-то кислого. Этот запах Кряжистая носила по утрам, как собственную одежду: зола, кислое молоко и сырой камень, к которым привыкнуть можно, а забыть нет.

Тётка Саба, развешивавшая бельё во дворе, увидела меня и ушла в дом, будто вспомнила что-то срочное, а кузнец Горлан замедлил удары молота, пережидая, пока я пройду. Потом он загрохотал с прежней силой. Даже рыбак Тэм, которого я считал самым добрым в деревне, при виде меня отвёл глаза и стал смотреть куда-то в сторону колодца. Никто из них, наверное, не хотел обидеть меня своим поведением, и, наверное, в них не было злости. Однако было предубеждение. Я – Тёмный, и все понимали, что таким, как я, не место среди них.

Навстречу прошёл Бергус, наш староста. Грузный, с тяжёлым подбородком и глазами, которые всё время что-то оценивали, словно прикидывали, сколько стоит то, на что смотрят. Он не отвернулся, нет, наоборот, задержал на мне взгляд, холодный и измеряющий, а я подумал, что после отца все старосты кажутся меньше. Даже те, кто шире в плечах и выше ростом. Бергус хмыкнул, махнул рукой и пошёл дальше по своим делам.

У дома Сабы я замедлился, потому что в окне мелькнуло лицо, маленькое, детское. Девочка, совсем мелкая, может, лет пяти или шести. Она смотрела на меня, не отводя глаз, не прячась за занавеску, не убегая, она просто смотрела, с таким спокойным любопытством, которое бывает у тех, кого ещё не научили бояться. Это было первое за всё утро лицо, которое не отвернулось от меня. Однако я прошёл мимо, не став на неё реагировать. Прежде всего я понимал, что именно ей меньше всех надо, чтобы я посмотрел на неё и приветливо улыбнулся. В конце концов, это на неё могут начать смотреть так же косо, как на меня.

У колодца стояли двое мужиков и говорили тихо, будто бы опасаясь, что их кто-то может подслушать. Я проходил мимо, и до меня долетело обрывком: «...говорят, на днях Ясный приедет... всех проверят... кому колба мутная, тем несладко будет...» Один из них заметил меня, осёкся, отвернулся к колодцу и начал крутить ворот с таким усердием, будто в колодце пересохло, а в ведре была последняя вода на свете. Я не остановился и прошёл дальше, но где-то внизу живота что-то сжалось. Потому что мутная колба, о которой они говорили, была только у меня. Вообще, это было крайней степенью пренебрежения, называть Сосуд колбой. Чаше, правда, его называли пузырьём, что было сродни святотатству. И тем не менее, мужики говорили именно обо мне. И ведь не моя вина в том, что я стал Тёмным. Я ведь ничего такого не сделал, и мой Сосуд был таким с самого рождения. Это знали все, но мне от того легче не ста-

новилося. Для всех я был каким-то испорченным или даже проклятым, и это было настолько несправедливо, что мне хотелось кричать. Не на них, но на весь мир, в пепельное небо, в свинцовую воду реки Тихой, куда угодно! Но я молчал. Так учил меня отец, и, конечно, он был прав. Пусть нет моей вины в том, что я Тёмный, но от крика я получу только неприятности.

Спустившись к реке, я сразу направился к своему месту. Туда, где берег подмытый и глинистый, где есть выступ, на который можно сесть, свесить ноги и смотреть на воду. Думать. Или не думать. Или просто сидеть и ничего не делать. Тихая река текла так же медленно, как и называлась. Свинцовая и слегка мутная вода была точным отражением моего состояния, такого же тяжёлого и непонятного. И, наверное, поэтому мне здесь и нравилось, как будто мы с рекой были чем-то похожи. Но прежде всего ей было просто всё равно, кто я такой, какой у меня Сосуд и есть ли он вообще, а, пожалуй, это было самое честное отношение ко мне во всей Кряжистой.

Как и вчера, мне нужно было просто дотянуть до вечера. Ещё один день, а потом вернётся папа. Может быть, у него останутся силы, чтобы немного пройтись со мной, а может быть, мне будет достаточно просто сесть с ним за одним столом и поужинать. Может быть, мы просто помолчим, ничего не говоря проводим закат. И это будет нормально.

Тихая река была не только тихой, но и длинной. Она уходила как куда-то далеко, туда, вверх по течению к скалистым вершинам, о которых я только слышал, но никогда не видел, так и вниз, туда, где была могила моей матери. Я был там всего раз, и мне было лет семь или восемь. Отец разбудил меня на рассвете и тихо, чтобы не услышала мачеха, вывел на улицу. Мы шли молча, дорогой, по которой я прежде никогда не ходил. Вдоль реки, вниз по течению, огибая запруды и обходя небольшие леса, мы пришли тогда к большому дереву, корни которого вылезли из земли так, будто вековой исполин решил отрастить ноги и пройтись погулять. Под кроной разлапистого дерева был небольшой холмик, присыпанный мелкими камнями. Именно у этой, казалось бы, простой кучи камней стоял отец, а потом положил на него ещё один камушек. Небольшой, обычная галька, и именно таких камней на этом холме было больше всего.

Я тогда не понимал, хотел спросить, но не осмелился, а папа, перехватив мою неуверенность, тихо сказал:

– Здесь лежит мама.

Замерев, я тогда не знал, что сказать. У меня никогда не было мамы, были лишь разговоры о ней в деревне, и эти разговоры мне никогда не нравились. А теперь оказалось, что она у меня была всегда. Только тут, под камнями в тени огромного дерева. На берегу вяло-текущей реки, навевающей мутно-серую скуку. Или тоску.

Отец тогда показал на небо, стремительно светлеющее с появлением солнца. И, показав на рассвет, спросил:

– Видишь? Светлеет, не так ли? Но разве мир белый? Это всё тени, малыш. Вокруг лишь оттенки

Я посмотрел тогда, и должен был согласиться: серый мир был одинаково-серым, как в лучах солнца, так и в тени. И одни тени были глубже, другие бархатно-тёплыми. А переходы одного оттенка в другой сливались в общую палитру нашего грустного мира. Казалось, раньше я не замечал всего этого. Вот только, что это значило? И что мне с того? Я не знал. Но тот день запомнил.

Отец сказал тогда ещё, так же тихо, как и до этого, но в этот раз я уловил лишь часть его фразы. Мне удалось её додумать значительно позже, когда я всё же подрос. И по сей день, я могу лишь догадываться, что сказал мне тогда папа, и не выдумал ли я всё, что он хотел донести. Но я считаю, что он сказал тогда, что мама знала. Понимала, что всё будет так, и это было её последней просьбой и последним желанием. Чтобы я жил. «Пусть он живёт!» – сказал мой отец, а всё остальное уже придумал я сам...

* * *

Сколько я так просидел, не знаю, может час, может два, время в Кряжистой, как и всё прочее, текло странно, как будто кто-то размешивал его ложкой в большом котле, а потом забывал помешивать, и оно загустевало. Так один час был похож на другой, а один день на предыдущий. Тусклое, пепельное пятно, скрытое свинцовым пологом неба, которое мы называли солнцем, немного сдвинулось, тени стали длиннее, хотя тенями это можно было назвать с натяжкой, скорее одна часть серого становилась чуть темнее другой.

Сначала послышался смех, потом шаги, потом голос Криспа, который всегда шёл чуть впереди своих друзей, потому что так положено, когда ты на голову выше, на год старше и с чистым Сосудом. Отец у него плотник, крепкий, уважаемый мужик, а сказать сыну, что тот делает дрянь, то ли некому, то ли незачем. Крисп был не злой, если подумать, просто в деревне, где Тёмный равнялся мишени, кто-то должен был бросить первый камень, вот он и бросал. Просто он мог это сделать, вот и всё.

– Гляди-ка, Мазок у речки сидит, – сказал он, а двое за его спиной засмеялись, как смеялись всегда, когда Крисп издевался надо мной.

Я не обернулся. Когда оборачиваешься, им веселее, это я уже давно понял, а если сидеть тихо, иногда им становилось скучно, они могли ещё немного потоптаться, а потом бросали что-нибудь вслед, да уходили. Но сегодня Крисп скучать не собирался. Он подошёл ближе, и я спиной почувствовал его тень. Не знаю, чувствовали ли другие такое, но я точно понимал, чья тень меня коснулась, живая тень всегда теплее мёртвой, даже если её отбрасывает такой паршивый человек. Крисп наклонился, и я понял, что на этот раз так просто не обойдётся. Его пальцы дёрнули шнурок на моей шее раньше, чем я успел среагировать.

– Это чего у тебя? – он рванул сильнее. Подвеска из кости вылетела из-под ворота, маленькая, неровная, чуть тёплая от моего тела. – Кость от демона, да? Мазок демонову кость на шее таскает, вы гляньте!

Я схватил его за руку. Не потому что внезапно нашёл в себе смелость, нет, просто эта подвеска была единственной вещью, оставшейся от ночи моего рождения, от той ночи, когда появились демоны, когда один демон убил другого, когда мама умерла, а я остался. Да, говорят, что демонов было двое, что один был похож на человека, а второй на собаку. Говорят ещё, что в ту ночь погибла не только мама, но и повитуха. Говорят, что демон убил псину и отец вырезал подвеску из кости той твари. Он повесил её мне на шею, и я носил её сколько себя помню. А на запястье у меня был мамин шнурок, настоящий, тот, который она держала в руках, когда ещё была жива, и эти две вещи: кость да шнурок, были всем, что у меня от неё осталось, если не считать чужих слов, что я похож на мать, и той безымянной могилы у корней великого древа. Отдать хоть что-то из этого я не мог.

Крисп удивился, потому что обычно я не сопротивлялся, обычно терпел, как учил отец, но сегодня рука сама вцепилась в его запястье, сжала так, что он дёрнулся и отступил на шаг.

– Ты чего, Мазок, совсем? – он вырвал руку, лицо стало другим, не насмешливым, а обиженным, как будто это я нарушил какие-то правила, а не он. – Ладно, подавись своей побрякушкой.

Они ушли, но это был не конец, а начало, потому что Крисп не из тех, кто забывает. Обычно он забавлялся, а сегодня ему дали сдачи, а это совсем другое дело. В его глазах, когда он оборачивался напоследок, я увидел не злость даже, а обещание, простое, понятное без слов.

Я не сразу встал. Сидел и смотрел на свою правую ладонь, ту самую, которая только что вцепилась в запястье Криспа с такой силой, что он отступил. Пальцы были чужие, не мои, как будто кто-то другой ими управлял, а я только наблюдал. Я потряс кистью, сжал и разжал кулак, но ощущение не ушло, ладонь помнила чужое запястье, точно знала, куда давить и как держать, чтобы человеку было больно. И так, чтобы он не мог вырваться. Никто меня этому не учил. Папа не научил, как не научил и правильно держать копьё, а тут рука сама перехватила, сама

сжала, сама остановила. Откуда? Я сидел и думал об этом, и чем больше думал, тем тревожнее становилось, потому что одно дело, когда ты не понимаешь мир вокруг себя, и совсем другое, когда ты не понимаешь самого себя.

Подвеска лежала на моей ладони. Маленький кусочек кости, пожелтевший, гладкий, странный, потому что он был не такой, как всё остальное вокруг. Другого оттенка, не серый, не пепельный, не графитовый, а какой-то совсем иной. Отец говорил, что та тварь не принадлежала нашему миру. И потому единственное, что от неё осталось – это маленький кусочек кости, столь же чуждый нам, как и сами демоны. Я никогда не понимал, что это значит, но мне нравилось держать свой амулет в руке. Он был тёплый, как будто хранил что-то живое, что-то, чего в Кряжистой давно не осталось.

После того как Крисп ушёл, сидеть на своём месте расхотелось, словно оно стало чужим, испорченным, как тарелка с кашей, в которую кто-то плюнул. Я поднялся и пошёл дальше по берегу, туда, где Тихая река делает поворот, где берег выше, а внизу вода чуть быстрее. Хотя слово «быстрее» к Тихой реке подходило примерно так же, как «проснулась» к Кряжистой.

Сел на траву, жёсткую и пыльную, почти графитового оттенка. Подвеска лежала в кулаке, я даже не заметил, что всё это время её не отпускал, сжимал так, что на ладони остался след, маленькая вмятина от края кости. Странная штука: весь мир вокруг одинаковый, пепельный, свинцовый, дымчатый, а эта кость другая, и сколько бы я ни пытался понять, чем именно, у меня ничего не получалось. Она была просто другая, и всё. Впрочем, как и я

«Тёмный» – говорили деревенские. «Осквернённый» – шипела мачеха. «Выродок» – дразнил Крисп. Но ни одно из этих слов не было правильным, я это чувствовал, как чувствуешь фальшь в улыбках торговцев, предлагающих слегка подпорченные фрукты.

Может, и нет для меня правильного слова. Может, его ещё не придумали.

Дунувший с реки ветер обдал меня сырым холодом, и по телу пробежали мурашки. Шнурок слегка стянул кожу на запястье, и я подумал, что вот они, две вещи, оставшиеся как последние воспоминания о давно минувшей ночи. Вот только одна хранит память о твари, виновной во всём случившемся, другая – о человеке, которого я никогда не видел. Сложно скучать и тосковать по тому, кого никогда не знал. И это, наверное, глупо, но я скучал. И грустил каждый день, перебирая и думая, могло ли всё сложиться иначе.

* * *

К вечеру стало ещё холоднее и, пытаясь спрятаться за воротом куртки, я понимал, что это уже не помогает. Можно было бы посидеть ещё, но это было бы чревато простудой. Да и скоро вернётся папа. Вернётся, поставит своё копьё у двери, сядет за стол и расскажет, как далеко пришлось ему в этот раз зайти. Посетует, что живности в лесах стало меньше, а может быть, расскажет какую-то интересную историю.

Ради этого стоило возвращаться. Не ради дома, не ради каши, не ради мачехи, которая будет тереть руки и поджимать губы, а ради одного человека, который сядет напротив, посмотрит на меня так, будто хочет сказать что-то важное, а потом, как всегда, промолчит. Каждый вечер я возвращался ради этого, каждый вечер делал этот выбор, хотя выбором это, наверное, сложно назвать, потому что, когда у тебя есть только один человек на всём свете, ты просто идёшь к нему, и всё.

Я встал, отряхнул штаны, спрятал подвеску под ворот и пошёл домой.

* * *

Мачеха встретила меня на пороге. Она молчала и, пожалуй, это было даже лучше, чем если бы она что-то сказала. Слова у неё всегда выходили острее, чем взгляд. Она стояла у стола и тёрла руки, сухо, быстро, как будто мыла, хотя воды рядом не было. Когда я вошёл, она бросила на меня короткий взгляд и пробормотала что-то под нос, я расслышал только «...опять гальку, небось, таскал...» и сразу замолчала, поджала губы и повернулась к печи. Я не понял,

о чём она. Куда таскал, зачем, но от того, как она это сказала, от этой злости, не на меня даже, а на что-то другое, мне стало не по себе.

На столе стояла миска с остатками утренней каши, холодной, загустевшей. Где-то у печи наверняка стоял горшочек с чем-нибудь настоящим, тем, чем она потом накормит отца, когда тот вернётся, а мне досталось доедать утреннее.

Я ел молча, стараясь не стучать ложкой. Мачеха стояла у печи, сложив руки на груди, и смотрела в стену. Не на меня, не на дверь, и не в окно. Просто в стену. Потом она начала ходить по дому, переставлять что-то, складывать, протирать, но руки её делали одно, а голова думала о другом, это было видно по тому, как она замирала на полушаге, прислушивалась к чему-то за окном, потом встряхивалась и шла дальше. Каждый раз, проходя мимо двери, она чуть замедлялась. Я впервые видел её такой, не злой, не острой, а растерянной, как будто из неё вынули что-то важное, какой-то стержень, на котором всё держалось, и без него она не знала, куда себя деть. Она любила папу, и правда любила, по-настоящему, и сейчас, когда его не было, это стало видно так ясно, что мне даже стало не по себе, потому что я привык думать о ней как о враге, а враги не должны так бояться за тех, кого любят.

Когда стемнело, мачеха наконец замерла посреди комнаты, и взгляд её упёрся в дверь, а потом скользнул ниже, туда, где у стены стояло копьё. Одно копьё, моё, маленькое, которым я никогда не пользовался. А папиного не было, потому что папа ещё не вернулся.

Я лёг на свою лежанку лицом к двери, как ложился всегда, сколько себя помню, не спрашивая почему, просто мне казалось, что так правильно. За стеной скрипели половицы, ровно, монотонно, взад-вперёд, взад-вперёд, и мне подумалось, что это, наверное, первый раз, когда мы с мачехой чувствовали одно и то же, оба ждали одного человека, оба боялись, что он не придёт, только она боялась потерять мужа, а я боялся потерять единственного человека, которому было не всё равно.

Это был обычный день. Самый обычный из всех серых дней, которые я помню, и, если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что к утру всё изменится, я бы, наверное, пожал плечами, потому что в Кряжистой ничего не менялось, никогда.

До этого дня.

Часть 1. Глава 2. Тишина

Я проснулся от тишины. Не от звука или от света, не от холода, а именно от тишины, и это было странно, потому что сама по себе тишина обычно усыпляет, а не старается разбудить. Вот только эта тишина была другой, неправильной, как нота, которую взяли на два тона ниже. За стеной никто не ходил. Половицы молчали, печь молчала, и даже ветер за окном, казалось, притих, будто тоже чего-то ждал.

Отцовского копыя у двери не было. Я это увидел сразу, ещё лёжа на лежанке, потому что первое, на что я смотрел каждое утро, было именно оно, тяжёлое, длинное, с обмотанной кожей рукоятью. Оно обычно стояло у косяка, будто бы напоминая всему дому, кто на самом деле в нём хозяин. Сейчас его там не было, а моё, маленькое, стояло на своём месте, но за ним никакой силы я не ощущал. От этой пустоты мне стало не по себе, хотя я тут же сказал себе, что ничего такого не произошло, отец задержался на охоте, бывает. Заночевал где-нибудь у ручья, под деревом, завернувшись в шкуру. Отец рассказывал, что раньше так делал, когда зверь уводил далеко. Правда, я не помнил, чтобы он хоть раз не вернулся к ночи, но память штука ненадёжная, особенно когда хочешь вспомнить то, чего не было.

Мачеха сидела за столом, на отцовском месте. Это казалось неправильным, она никогда не сидела там. Это было его место, его стул, его кусок стола. Она же всегда садилась напротив, а сейчас сидела там, где он, и руки её лежали на столешнице так же, как лежали его руки. Только её кисти были тоньше, костлявее, с сухой потрескавшейся кожей вместо натруженных мозолей. На меня она не обратила никакого внимания. Возможно, так даже лучше, в конце концов, было бы только хуже, если бы она сорвалась на меня. Хотя, признаться, я уверен, что где-то в глубине её души она уже трижды прокляла тот день. Да, впрочем, любой день, к концу которого я оставался в её жизни.

Завтрака не было. Ни каши, ни хлеба. Даже воды в кружке. Печь стояла холодная, и я понял, что мачеха не спала, не готовила, не делала ничего из того, что делала каждое утро на протяжении всех лет, что я её знал. Она просто сидела и ждала, и по её лицу, пепельному и осунувшемуся, с сизыми кругами под глазами, было понятно, что так она просидела всю ночь.

Глядя на неё, я подумал, что, возможно, в чём-то она и права. Если бы я не был Тёмным, отец, скорее всего, до сих пор был бы старостой. Его не обходили бы стороной, и у него была бы нормальная работа. Он так и оставался бы почётным жителем деревни, занимался бы чем-то полезным, а не уходил в лес за добычей. Без охоты, без драгоценного мяса и не менее драгоценных шкур, которые он приносит с охоты, нам было просто нечего есть. Вот, если бы я не был Тёмным. Взял бы он вчера своё копыё и ушёл бы в лес?

Мачеха поднялась резко, будто приняла какое-то решение, и, накинув платок на плечи, вышла на улицу. На меня она всё так же не глядела и, уходя, не сказала ни слова. Я подошёл к окну и смотрел, как она идёт по улице, прямая и сухая. Стянутая в узел и натянутая как струна, она стучит в двери соседям. Первый дом, второй, третий. Я не слышал, что она говорила, но видел, как наклоняла голову чуть ниже обычного, когда общалась с селянами. Видел, как руки её опускались вдоль тела. Сперва сложенные на груди, а потом упёртые в бока, от дома к дому они свисали всё ниже, пока не превратились в безвольные плети. Я видел человека, который вслед за надеждой теряет всю свою гордость. Она просила о помощи, и я видел это впервые в жизни. Стучала в чужие двери, и голос её становился тише, а спина продолжала сгибаться всё ниже. У меня внутри что-то сжалось, потому что мачеху такой я не видел никогда и, наверное, видеть никогда не хотел бы. Как бы я к ней ни относился, но никто на свете не заслужил того, чтобы приходилось так унижаться. И ещё я заметил, что она не плакала. Вообще. Ни одной слезинки. Не кричала и не устраивала истерик. Пожалуй, именно так и выглядят ещё не сломленные, но уже немного треснувшие люди.

Деревенские выходили, слушали, кивали. Не ради меня, конечно, и не ради неё, а ради отца, которого помнили старостой, крепким, надёжным мужиком, на чье слово можно было положиться. Борена в Кряжистой уважали, даже те, кто отвернулся после моего рождения, уважали по-тихому, про себя, потому что память о хорошем старосте живёт дольше, чем причины, по которым его сняли. Кузнец Горлан вышел первым, за ним Тэм, потом ещё двое, чьих имён я не знал, или знал, но не помнил, потому что они никогда со мной не разговаривали.

Собрались у колодца, негромко переговариваясь. Мачеха стояла чуть в стороне, снова прямая, снова стянута, будто ту минуту слабости, когда она стучала в двери, можно было стереть, если выпрямить спину достаточно сильно. Я натянул куртку и вышел к ним.

Разговоры притихли, когда я подошёл, кто-то скривился, кто-то сплюнул себе под ноги, и от этого мне стало понятно, что ничего не изменилось, даже сейчас, когда отец пропал, я оставался тем, от кого лучше держаться подальше.

– Я с вами пойду, – сказал я, и голос мой прозвучал тише, чем хотелось, тоньше, как голос ребёнка, которым я, впрочем, и был, хотя в тот момент хотел быть кем-то другим.

Горлан хмыкнул, скорее от неловкости, чем от злости. Тэм бросил на меня странный взгляд, не брезгливый и не злобный, но какой-то всё же неприятный.

Вообще, если честно, я очень много чего не понимал в людях. И многого не мог объяснить. Даже то, что меня так сильно ненавидят в деревне, никак не укладывалось в моей голове. Человеческая подлость казалась чем-то нечестным, несправедливым! Вот и Тэм посмотрел так, будто что-то хотел сказать, но передумал. А потом посмотрел на мачеху, ожидая её решения.

– Куда собрался? – бросила она, не оборачиваясь, голосом, в котором привычный яд был разбавлен чем-то другим, то ли усталостью, то ли страхом, но на людях она держалась, как держалась всегда, прямая, жёсткая, непробиваемая. – Стой тут. Не лезь.

Кто-то из мужиков добавил вполголоса, не мне, а в воздух:

– Сиди, выродок, без тебя разберёмся.

Мачеха коротко глянула на сказавшего, и тот замолчал. Она не меня защищала, понятное дело, просто не любила, когда чужие лезли в семейные дела, даже такие.

Они ушли по дороге к лесу, Горлан впереди, за ним остальные. Мачеха дошла с ними до околицы, постояла, глядя вслед, потом развернулась и пошла обратно. А я стоял у колодца и смотрел, как фигуры их делались меньше, серее, пока не растворились в мышинной пыли и дымчатом тумане. И тогда я пообещал себе не плакать. Не от гордости, нет. От суеверия. Мне казалось, что если заплачешь, значит, признаёшь, что случилось самое страшное. А пока не плачешь, пока держишься, надежда ещё есть. Глупое, наверное, суеверие, детское, но в тринадцать лет таких много, и я вцепился в него, как вцепился вчера в подвеску, которую пытались отнять.

Ожидание тянулось бесконечно. Бежать, драться, стоять перед Криспом, сжимая зубы, – там хоть что-то зависело от меня. А тут оставалось только сидеть и слушать, как растёт тишина. Когда ждёшь, ты ничего не можешь, ничего не знаешь, а в голове рождаются мысли, что оказываются страшнее любой правды.

Я сидел на крыльце и смотрел на дорогу, ведущую к лесу. Где-то там сейчас были люди, ушедшие на поиски моего отца, а я сидел на ступеньке и ничего не делал. Отец учил: не лезь, терпи и не отвечай. Вчера это было просто. Сегодня каждая минута тянулась, как смоляная жижа, что варят в котле. Густая, липкая и тягучая.

Деревня жила своей жизнью, но по какой-то причине мне казалось, что тише и осторожнее. Откуда-то из-за домов долетел обрывок разговора двух женщин. Мне не было видно, кто говорил, однако голоса я знал хорошо.

– Не просто же так, тьма в доме – тьма в жизни, – шептала первая.

– Оно и видно, пустишь тьму на порог – шикнула вторая, не договорив.

Не знаю, почему они прервались, может, проходил кто-то мимо, но сплетницы замолчали и, видимо, продолжили свой разговор где-то в более укромном месте.

В какой-то момент рядом со мной появилась Мирна, молчаливая женщина, с которой я почти не пересекался прежде. Вроде бы деревня у нас не большая, но я всё равно знал не всех её жителей. Наверное, потому что и сам я старался большую часть времени скрываться где-то в округе. Мирна тихо подошла, будто стараясь спрятаться в тени соседской яблони, молча поставила рядом со мной кружку с водой, а потом поспешила куда-то прочь. Мне показалось, что это был первый раз в моей жизни, когда я получил что-то кроме презрения. Я получил жалость. И как бы мне ни хотелось пить, вода в кружке была для меня солоновато-горькой.

Я думал об отце. Не о том, что могло случиться, этого я себе не позволял, а о том, как он уходил вчера утром. Как взял копьё. Как обернулся у двери. Как посмотрел на меня. Что он хотел сказать? Почему опять не сказал? Может, если бы сказал, я бы сейчас не сидел здесь, а шёл бы рядом с ним. Но в моём возрасте многое легко принять за истину. Кажется, что стоит только поверить, и всё обязательно будет хорошо. Вот только будет ли? И может ли так быть, что всё будет хорошо только в одном случае? Если не будет меня?

* * *

Что-то изменилось в деревне, чья-то дверь скрипнула, чей-то голос оборвался на полуслове, тётка Саба, возившаяся в огороде через дорогу, выпрямилась и посмотрела в сторону леса, прикрыв глаза ладонью. Я тоже посмотрел.

По дороге шли люди. Медленно, тяжело, опустив головы. Так не несут хорошие новости, так не идут, чтобы кого-то обрадовать. Нет.

Горлан шёл первым, и руки его дрожали. Я это видел даже издали, потому что в них он нёс переломленное пополам копьё. То самое копьё. Отцовское. И только сейчас я понял, что на самом деле кузнец был моему отцу хорошим другом. Другом, который по стечению всех обстоятельств был вынужден предать свою дружбу и отстраниться. Неправильная, несправедливая жизнь! И вот, когда-то верный друг бережно и молча несёт остатки копья домой, куда уже никогда не вернётся охотник.

Мачеха выскочила из-за какого-то дома, я даже не заметил откуда. Впрочем, я и не знал, где она была до этого момента. Она побежала навстречу, и я видел, как едва выпрямившаяся спина вновь начала ломаться под грузом опускающейся на неё ноши. Казалось, что время замедлилось, когда кузнец протянул сломанное древко. Нет, не так, время не замедлилось, но я увидел всё очень чётко. Каждую трещину на древке, каждый узел на графитовом платке мачехи, каждую морщину на лице Горлана, пытающегося хоть куда-то спрятать глаза. Быть может, своим поведением он предал не только хорошего друга, но и кого-то ещё. Не знаю.

Взяв копьё, мачеха посмотрела на него и подняла глаза на кузнеца. В отличие от крепких кулаков мужчины, руки надломленной женщины не дрожали. Она не сказала ни слова, впрочем, как не пустила и слезы. Она не заплакала. Опять.

Никто не стал подходить ближе, и вся процессия потихонечку начала расходиться. Осталась только мачеха и кузнец. Он что-то сказал ей, так тихо, что мне не удалось расслышать слов, я видел только слегка шевелящиеся губы. А потом он разжал руки, оставив копьё в руках овдовевшей женщины, развернулся и ушёл.

Когда мачеха осталась одна, я почему-то захотел подойти к ней. Сперва робко, шаг за шагом начал приближаться к её спине. Такая узкая и тёмная, в платке, чуть сбившемся набедреннике. Уверен, что ещё вчера вечером она бы не позволила себе выйти из дома, не приведя себя в порядок. И только сейчас этот маленький изъяс говорил так много о женщине, старавшейся всегда быть правильной. Пусть не для всех, но для отца. Не знаю, как так получается и как выходит, но она и правда его любила. И только для него она всегда старалась быть лучше, чем на самом деле была. Я сделал ещё шаг, потом ещё и ещё: ноги сами ускорили мой путь, и я, казалось, уже мог дотронуться до её плеча. Мог сказать что-нибудь, да хоть что-то! Мы

ведь оба Мы оба потеряли одного человека! И это, наверное, делало нас чем-то большим, чем мачеха и пасынок! Хотя бы на минуту, лишь на мгновение! Я хотел сказать это, сказать что-то ещё, но лишь протянул руку, чтобы дотронуться до неё. Обернувшись, она увидела меня. Не вздрогнула, увидев мою руку, и, показалось, даже задумалась на мгновение. Но сухие и поникшие глаза разрушили эту картину. Я так надеялся, что в них хотя бы промелькнёт что-то живое, может быть, даже тёплое, но нет. Прошла секунда, и она отдёргнулась от меня, как от проказы.

– Не трогай меня, – сказала она тихо, почти шёпотом, так, чтобы никто не услышал. Потом развернулась и широкими шагами пошла домой.

Моя рука так и осталась висеть в воздухе, так и не дотянувшись до плеча мачехи. Несправедливый мир. Нечестный, неправильный! И горько, горько сознавать, что, вероятно, единственная этому причина – я сам.

* * *

Дома было тихо и пусто, но как-то иначе, нежели утром. Утром пустота ещё чего-то ждала, а сейчас перестала. Отцовское место за столом, его стул, его угол, всё было на месте, всё было таким же, как вчера, и позавчера, и всю мою жизнь до этого, только теперь всё это стало простыми вещами: деревом и камнем, без человека, который придавал им смысл.

Вечером мачеха поставила передо мной миску с едой. Я удивился, ведь это была не утренняя жижа, а нормальная еда! Густая похлёбка, та самая, которую она обычно берегла для отца. Видимо, вчера горшочек у печи всё же стоял. Ждал хозяина, но тот не пришёл, и теперь остывшую и, наверняка, немного подкисшую еду кто-то должен был съесть. И, конечно же, это был я.

Я ел молча. Она сидела напротив, на своём месте, не на отцовском, как утром. Вернулась на свой стул. Утром она ещё надеялась, заняла его место, будто грела для него, а сейчас отпустила. И от этого тоже стало больно.

Я понимал, что это только начало. Завтра она придёт в себя, соберётся, выпрямится, и тогда всё станет по-другому. Без отца между нами не было ничего, никакой преграды, никакого щита, и та женщина, вторая, жёсткая, сухая, обращённая ко всему остальному миру, могла наконец перестать прятаться и стать единственной.

* * *

Лёжа в темноте, я пытался вспомнить отцовский голос и не мог. Лицо помнил, руки помнил, даже запах, тот глубокий, лесной, пропитанный мхом и дичью, который он приносил с собой после охоты, а голос ускользал, как будто из всего, что было отцом, голос ушёл первым. Странно, ведь он только вчера говорил мне, чтобы я не ждал к обеду, и я слышал каждое слово, а сейчас пытаюсь вспомнить, как именно звучало это «не жди», и не получается.

Показалось, что шнурок на моём запястье сегодня давил чуть сильнее обычного. Возможно, что только показалось. Если подумать, от мамы у меня осталась лишь эта нить. От отца, выходит, тоже останется что-нибудь, какая-нибудь безделушка, которую я буду носить с собой. Чтобы не забыть, чтобы помнить, чтобы воспоминания не зачерствели и не посерели где-то в глубине моей памяти. Вместо людей вещи. Так, наверное, и устроен этот мир. Люди уходят, а вместо них остаются вещи. И потом ты ходишь среди этих вещей, забывая кому и что принадлежало. И однажды даже самый ценный шнурок на твоей руке станет просто безделицей, в которой не останется и крупинцы того человека, которому он принадлежал. Интересно, каково это, когда от человека не остаётся ничего. Так не останется и от меня.

Я один. По-настоящему один. Вот только по какой-то причине мне от этого совсем не страшно. Грустно? Обидно? Нет. Пусто.

Часть 1. Глава 3. Без щита

Мачеха была уже на ногах, когда я открыл глаза, и я сразу понял, что все действительно изменилось. Не знаю, что именно, но изменилось всё и даже то, как она стояла: спина прямая, плечи развёрнуты, платок аккуратно затянут – ни складочки лишней. Та вчерашняя, сломленная и потерянная женщина, сидевшая на отцовском месте, исчезла, будто её и не было, а вместо неё появилась другая, та самая, предсказанная мной вчера вечером: жёсткая и сухая ко всему остальному миру. И сейчас, без папы, без его молчаливого присутствия, без щита между ней и мной, она могла наконец стать единственной.

– Сегодня похороны, – не повернув ко мне головы, она ту же затянула платок. – Оденься.

Я кивнул, хотя она не могла этого видеть, а потом полез на лежанку за чистой рубахой. Она у меня была одна, для особых случаев, и я ни разу в жизни не думал, что похороны отца окажутся таким случаем. Рубаха пахла сухой травой и пылью, и, натягивая её, я старался не думать о том, что отцовский подарок на прошлый день рождения станет той самой тряпкой, в которой я пойду провожать его в последний путь. А потом я из неё вырасту и уже через год рубаха в прямом смысле слова станет тряпкой. Простой тряпкой.

Сегодня завтрака тоже не было. Мачеха не готовила и, кажется, не собиралась. Я не стал спрашивать, потому что сегодня это было бы глупо. Сегодня вообще всё было глупо, каждое слово, каждое движение, и я делал только то, что мне говорили, потому что больше от меня ничего не требовалось.

* * *

К берегу Тихой мы шли порознь. Мачеха шла впереди, быстрым шагом, деловито, как будто торопилась закончить неприятное дело. За ней, на расстоянии, Горлан и Тэм, и ещё человек десять из деревни. Я плёлся позади всех, и никто не оглядывался, чтобы проверить, иду я вообще или нет. Наверное, они бы предпочли, чтобы я не шёл, но даже самые суеверные понимали, что не пустить сына на похороны отца было бы уже слишком. Хотя, может, я и в этом ошибался.

Борена, завёрнутого в пепельное полотно, несли на плетёных носилках. Я старался не смотреть, но взгляд возвращался сам, снова и снова, цепляясь за очертания под тканью, за угадываемые плечи, за руки, сложенные на груди. Мне казалось, что он просто спит. Казалось, что сейчас он проснётся и скажет «не жди к обеду», а потом уйдёт в лес, и всё будет как прежде. Но ткань не шевелилась, грудь не поднималась и не опускалась, и мне приходилось повторять себе: папа не спит. Папа не спит. Не мог привыкнуть к этой мысли, как не мог привыкнуть и к тому, как звучат эти слова в моей голове.

Мы спустились вниз по течению реки и там, за поворотом, где Тихая делала петлю и берег поднимался выше, росло то самое большое дерево с узловатыми корнями, торчащими из земли, как пальцы великана. Здесь, под грудой маленьких камешков, покоилась мама. И здесь я не был с тех самых пор, как меня сюда однажды привёл папа. И вот я второй раз ступаю под разлапистую древесную тень, но уже не для того, чтобы подумать о маме, а для того, чтобы проститься с отцом. С тех пор, как я был здесь последний раз, горка гальки над могилой мамы значительно выросла. Кто-то приходил сюда и каждый раз клал камешек. Один, потом ещё один, потом ещё и ещё. Конечно, я не знал, кто это, но догадывался, что это делал именно папа. А кто ещё бы это мог быть?

Маму звали Эйна. Такое красивое и певучее имя, я знал его, но так никогда в жизни и не произносил вслух. Казалось, что оно должно звучать, как оклик какой-то певучей птицы, и мой голос только испортит его звучание. Возможно, имя отца однажды точно так же превратится для меня в какое-то подобие грозного рычания голодного медведя. Борен. Ещё вчера вечером я поймал себя на том, что не могу вспомнить его голос, и сейчас, лишь на мгновение, но мне

показалось, что я его вспомнил. Вспомнил, а потом снова забыл. И осталось только недовольное ворчание проснувшегося в снегах медведя. Борен!

Вторую яму копали рядом с могилой матери. Горлан и Тэм ловко орудовали лопатами и, без лишних разговоров, выбрасывали комья земли по обе стороны от будущей могилы. Я хотел помочь, чувствовал, что так было бы правильно, но мне лопату никто не дал, поэтому я стоял и смотрел. Сперва считал удары лопат, потом изучал выбрасываемую землю. Я видел, как чёрная, как смоль, земля постепенно сменилась тёмной серой глиной и окончательно превратилась в седой мелкий песок. Тогда и перестали копать. Думаю, что копали всегда до того момента, когда дойдут до песка. Я не понимал, почему так, но мне показалось, что это правильно: тело моего отца будет лежать на мягкой песчаной подушке, а не в твёрдой и застывшей глине.

Принесли носилки, и кто-то из деревенских произнёс ритуальные слова. Те самые, в которых что-то говорили про Свет, про вознесение, душу и какой-то путь, дарованный каждому. Эти слова звучали правильно, гладко, но я чувствовал в них какую-то фальшь. Они хоронили «покойного», «усопшего», пусть даже мужа, но папу хоронил только я, и у меня не было правильных слов, а все, что застревали в горле, были неправильные.

Когда тело опустили в яму и засыпали землёй, на могилу поставили камень. Необтёсанный, с одним словом, выбитым на поверхности: «Борен». Одно слово. Не «староста», не «отец», не «муж», не «охотник», просто Борен, одно единственное слово на целую жизнь. Про такого человека, и всего одно слово. Мне показалось это настолько несправедливым, что я чуть не закричал, но удержался, потому что отец учил молчать, и я молчал, стиснув зубы так, что сводило челюсть.

Деревенские начали расходиться. Кто быстрее, кто медленнее, но все уходили, и я видел, как они старались не задерживаться рядом со мной. Горлан ушёл последним. Он, опустив тяжёлые руки, стоял дольше остальных. Я снова увидел, что его кулаки дрожат. Дрожат, как вчера, когда он нёс сломанное копьё. Кузнец, чьи ладони гнут подковы и бьют молотом по раскалённому железу, стоял и не мог унять дрожь в пальцах. Он не сказал ни слова, просто постоял, развернулся и ушёл, тяжело переставляя ноги. Мне показалось, что на его ещё вчера широкоплечей и прямой спине сегодня плечи опустились немного ниже, а осанка начала выдавать усталость от той ноши, что кузнецу приходилось нести.

Мачеха же ушла одной из первых. Она всё так же не проронила ни единой слезы, не сказала ни слова и даже не попрощалась с отцом. Странно, ведь я был уверен, что она по-настоящему любила папу. Наверное, я ничего не понимаю в любви. Как и в людях. Однако я заметил, как она бросила взгляд на горку гальки у маминой могилы. Её непробиваемое лицо всё же изменилось, показав мне какую-то ещё большую и доселе незнакомую злость.

Когда я остался один, где-то внутри меня звучали самые разные чувства. Вот они, два камня, под которыми лежат родители. И если мамино надгробие засыпано галькой, то на папином не лежит ни единого камушка. Не знаю, это традиция такая, обычай или какая-то примета. Или, возможно, это придумал мой папа и по какой-то причине каждый раз, уходя на охоту, проходил мимо мамы, оставлял небольшую крупицу своей памяти и тоски. И никакие годы не смогли смазать в его памяти то чувство утраты, что появилось в нём в день моего рождения. Удивительно, если честно. Сейчас мне кажется, что не прошло и суток с тех пор, как я узнал, что папы больше нет, а мне уже кажется, что я начинаю забывать его тёплые руки. А вот он помнил тринадцать лет. Помнил и приходил. И даже мачеха не смогла отбить у него этой привычки. Ничего не понимаю в этом мире.

И именно от этого непонимания я спустился к реке, нашёл два маленьких камушка и положил их на могилы родителей.

– Прости, мама, – внезапно сорвалось с моих губ.

Да, я столько лет не приходил сюда, и, вероятно, не смогу приходить чаще и впредь. Но самое важное заключалось в том, что я не до конца понимал, стоит ли. Хотелось сказать что-

то другое, хотелось сказать, что скучаю, что мне её не хватает. Но скучаю я по папе. А маму я даже не знал. И только то, что её жизнь завершилась в момент, когда родился я, делало меня в каком-то смысле должным. И этот долг, думается, будет со мной до конца. Не этот ли долг изменил мою жизнь таким образом, что Сосуд потемнел? Не от этого ли я стал Тёмным? Не это ли стало тем проклятием, что в конце концов погубило отца?

Не знаю. Но знаю точно, что теперь папа и мама рядом. И, наверное, во всей череде одних тёмных полос, падающих на ещё более тёмные, это было единственной доброй мыслью, что посетила мою голову. Встав и вытерев колени, я пошёл обратно. Наверное, вместе с этими двумя маленькими камешками на надгробиях моих родителей осталось что-то ещё. Что-то моё. Что-то такое, чего я и сам не мог понять, но явно чувствовал, что сам после этого дня никогда уже не буду прежним. И я не знал, правда, не знал, вернусь ли сюда. А если вернусь, то что я смогу сказать? Наверное, не хватит никаких слов...

* * *

Ещё вчера мне показалось, что деревня притихла со смертью отца. Сегодня же она наполнилась другими красками, и даже те, кто вчера мог просто пройти мимо, не сказав мне ни слова, теперь смотрели открыто. Вежливость и сострадание исчезли с лиц односельчан в тот момент, когда на камне появилось короткое имя «Борен». Мужик у забора поглядел на меня в упор и сплюнул, не отворачиваясь. Женщина, сидевшая на лавке у соседнего дома, увела за руку маленького сына, даже не стараясь прикрыть это каким-нибудь «пойдём, нам пора». Просто увела, и мальчик обернулся, с тем же выражением, с каким смотрят на что-то непонятное и неприятное одновременно. Двое парней, постарше меня, сидели на бревне и разговаривали, но замолчали, когда я проходил, и один из них тихо сказал другому что-то такое, от чего оба ухмыльнулись. Вот такие все тут светлые. Пусть в серых землях, но всё же – светлые. Такие вот добрые и чуткие. Неправильно всё в этом мире.

Раньше меня это задевало: каждый косой взгляд, каждый шёпот за спиной, каждый человек, перешедший на другую сторону улицы – всё это било по мне, и я злился, обижался, а потом давил обиду, как учил отец, и шёл дальше. Сегодня было по-другому. Сегодня мне было всё равно. Не потому что я стал сильнее или выше всего этого, а потому что внутри меня было пусто, и в пустоту ничего не вмещалось. Обида не находила, за что зацепиться, и проваливалась куда-то, как вода уходит в сухую землю.

Проходя мимо дома, в котором жила Саба, я снова заметил, что кто-то мелькнул за мутным стеклом. Вчера, вроде бы, там была девочка, смотревшая на меня без укоризны. А сегодня даже она поспешила спрятаться под подоконником, едва я попытался найти её в окне.

* * *

Дома мачеха уже разложила отцовские вещи на столе. Рубахи, нож, точильный камень, ремень, пара обмоток, какие-то мешочки, деревянная ложка, вырезанная отцом. Папа вообще любил сидеть на крыльце и что-то вырезать – ложки, тарелки. Как и всё остальное, он делал это с особой точностью, аккуратно строгал и всегда старался добиться совершенства. Каждая вещь лежала отдельно, с промежутком, как будто мачеха раскладывала не вещи, а жизнь, по кусочкам, по годам. А потом пыталась понять, что с этим делать. Сломанное копье стояло в углу, прислонённое к стене. Она не выбросила его, и я подумал, что, может быть, это единственная вещь в доме, значившая для неё больше, чем практическая польза.

– Воды принеси, – сказала она, не оборачиваясь. Без тепла, но и без ненависти прозвучали её слова. И, видимо, это было первым признаком надвигающихся изменений в наших с ней отношениях. – И дров наколи. И козу проверь.

Я стоял в дверях и смотрел на неё, на разложенные вещи, на стул отца, пустующий и ненужный. И мне вдруг стало ясно, что между нами не осталось ничего, никакой преграды, и теперь мы стоим друг перед другом без прикрытия, как есть. Без щита.

– Жервена.

Я не сразу понял, что она обращается ко мне. Вернее, не обращается, а говорит мне что-то, что я должен запомнить.

– Зови меня Жервена. Привыкай, щенок.

Слово «мачеха», видимо, осталось где-то в прошлой жизни. Там, где был отец, где были правила и было хоть что-то, напоминающее семью. А теперь семьи не было, и слово «мачеха» стало таким же пустым, как отцовский стул. Жервена. Это имя я знал, конечно, слышал его много раз, но никогда не произносил, ни вслух, ни про себя. Потому что она была именно мачехой. И никем больше.

– Да, Жервена, – сказал я, чувствуя свой собственный голос, как чей-то чужой. Имя чёрствым хлебом застряло в горле, и я громко сглотнул, чтобы не подавиться. А Жервена кивнула, удостоверившись, что я правильно ответил, и повернулась обратно к вещам, давая понять, что наш разговор окончен.

Поняв, что мне ничего другого не остаётся, я пошёл за водой. А когда вернулся, все отцовские вещи уже были уложены в холщовый мешок. Вот так, жизнь ещё совсем недавно дорогого человека поместилась в мешок. Интересно, а осталась ли в доме хотя бы одна вещь, напоминающая о нём?

– Гальку... – шептала под нос Жервена, не беспокоясь о том, слышу я или нет. – Гальку носил!..

Однако, когда я поставил ведро на лавку, мачеха резко замолчала и, посмотрев на меня, ещё несколько секунд о чём-то думала. Я не мог её понять, ещё вчера думал, что могу, но сейчас – нет. Не было в ней ни злости, ни боли по утрате, нет. Не было ничего такого, за что я мог бы зацепиться. И, думается мне, что с уходом отца между нами не пропал тот щит, нет. Между нами выросла та гора речных камушков на могиле моей матери. Гора, что камнем за камнем была собрана моим отцом. И, видимо, высота этой горки уколола Жервену даже сильнее, чем сама смерть отца.

– Чего стоишь, – сказала она жёстким и привычным голосом. – Дрова, я сказала.

Поспешив скрыться из дома, я обошёл его стороной, чтобы подойти к дровнику. Тяжёлым колуном, слишком тяжёлым для моих рук, я пытался разбивать чурбаны на поленья. Отец делал это легко, одним движением раскалывая пополам каждую чурку. А у меня топор застревал. Приходилось вытаскивать его, скрипеть и кряхтеть, бить снова и снова. Наверное, я не смог бы придумать занятия лучше. Да, каждый удар отдавался в кистях и утомлял плечи, но вместе с тем каждый удар выбивал и дурные мысли из моей головы. Думаю, если бы папа увидел, как я страдаю у дровника, он усмехнулся бы, а потом показал, как правильно ставить ноги, как держать топориче и как правильно делать замах. Но папы не было...

Потом я проверил козу. Она стояла в загоне за домом, старая и тощая, с тусклой шерстью. Она смотрела на меня равнодушно. Единственное существо в деревне, кто от меня не шарахается. Я дал ей сена и постоял рядом, просто чтобы побыть рядом с кем-то, кто не дрожит от страха при виде моей тени.

* * *

Вечером всё сломалось, и я до сих пор не помню, с чего всё началось. Может, я поставил ведро куда-то не туда. Может, не так посмотрел. Или вообще не было никакого повода, а было только то, что копилось в Жервене весь день. С самого утра, с похорон, с горки камешков, с бормотания над отцовскими вещами, а к вечеру терпение переполнилось и желчь полилась наружу.

Жервена говорила тихо, не кричала, не шипела, и я не знаю, что было бы лучше. Если бы она орала и бросалась вещами, я бы хоть понимал, что она живая, что внутри у неё что-то горит, но она говорила размеренно, подбирая слова, как подбирают камни для кладки: один к одному, плотно, без щелей.

– Ты думаешь, ты тут останешься? – спросила она, глядя мимо меня, в стену, в темнеее окно, куда угодно, только не на меня. – Ты хоть понимаешь, что тебя никто не хочет видеть? Деревня терпела тебя из-за Борена. Я терпела из-за Борена. Он просил, и я терпела, потому что любила его, а теперь его нет...

Она помолчала, и в этой паузе я услышал, как потрескивает печь, как скрипит ветка за окном, как где-то далеко лает собака, и все эти звуки были такими обычными, такими домашними, что от их несовпадения с тем, что происходило, мне стало дурно.

– Он мучился из-за тебя, – продолжила она, не обращая на меня никакого внимания. – Каждый день. Из-за тебя он перестал быть старостой. Из-за тебя он ходил на охоту, потому что больше никто не давал ему работу. Из-за тебя он таскался... – Она осеклась. Сжала губы. – Неважно. Из-за тебя.

Я стоял у двери и слушал. Не двигался, не отвечал, потому что нечего было отвечать. Не во всём, может быть, но в главном – была права, и я это знал, знал давно, ещё до того, как она сказала. Она просто произнесла вслух то, что я твердил себе каждый день. Из-за меня. Из-за того, что я Тёмный. Из-за того, что я родился таким. А если бы не я? Если бы я родился другим, Светлым? Папа всё ещё был бы старостой, мама... Мама? Мама умерла, когда я родился. Из-за...

Мысль споткнулась и упала, а я не стал её поднимать, потому что там, внизу, в яме незаконченных фраз и мыслей, было что-то такое, к чему я ещё не был готов.

– Ты лишний, – сказала Жервена. Просто. Как факт. Как «сегодня похороны». Как «воды принеси». Лишний. А я стоял и чувствовал, как пол уходит из-под ног. Медленно, практически незаметно, дом проседал подо мной, и я, чувствуя головокружение, падал вместе с ним.

– Завтра к старосте пойду, – продолжила она, не обращая на меня никакого внимания. – Поговорим о твоём будущем.

У меня есть будущее? А ведь я даже не задумывался об этом прежде. Вчера у меня был отец, пусть молчаливый, пусть не умеющий сказать то, что думает, но он был, и пока он был, у меня было место: стул за столом, лежанка у стены, миска каши по утрам. Теперь стул пустовал, лежанка была просто досками, а каша... Жервена посмотрела на меня и добавила, после паузы, такой длинной, что я успел забыть, что жду продолжения:

– Иди в сарай. Там поспишь.

Вот так меня лишили не только семьи, но и дома. Прозвучавшие слова не сразу сложились во что-то осмысленное, но спустя мгновение оцепенение ушло, и я повторил про себя. В сарай. В сарай? Я повернул голову, чтобы посмотреть на свою лежанку, на одеяло, на свой угол – всю мою жизнь, и только тогда понял. По-настоящему понял. Она выгоняла меня из дома.

Я не ответил. Да и не мог. Мне нечего было сказать, а возразить было нечего. А Жервена отвернулась и уже занималась чем-то за столом. Для неё разговор был окончен, решение принято, приговор вынесен и всё. Светлые... Вот с такой светлой я столько лет прожил под одной крышей. Я взял одеяло с лежанки, свернул его и вышел, прижимая к груди всё, что у меня осталось от прошлой жизни. Вот так, ближе всего к моей груди оказались какие-то жалкие пожитки. К той самой груди, внутри которой таился мой тёмный Сосуд...

* * *

Сарай стоял за домом, покосившийся, с щелями между досок, тянувшими сыростью и холодом. В загоне тихо шевелилась коза, переступала с ноги на ногу, и от её присутствия стало чуть легче, как бывает, когда рядом есть хоть одно живое существо, пусть даже бессловесное. Крыша просела с одного угла, и в том месте, где она прогнулась, скопилась дождевая вода, медленно капавшая вниз, в темноту. Кап. Кап. Кап. Не считалка, нет, а скорее мучительное напоминание о том, что время в этом мире идёт нестерпимо медленно.

Внутри пахло сеном, навозом и чем-то затхлым. Солома действительно была, набросанная в углу, слежавшаяся и местами прелая. Я расстелил одеяло поверх неё и сел, уставившись в

чернильную темноту у двери. Не знаю, откуда у меня была такая привычка, но в любом помещении и в любой ситуации я всегда старался сидеть или лежать так, чтобы можно было увидеть выход. Будто бы всегда и всю жизнь я боялся, что однажды через дверь кто-то войдёт. Боялся ли? Или ждал? Не знаю...

Через щели в стенах было видно обсидиановое небо, низкое, без звёзд. Где-то далеко текла Тихая, вниз, мимо деревни, мимо большого дерева, мимо двух камней, до которых больше никому не было дела...

У меня ничего не было. Одежда на мне, одеяло, подвеска на шее, шнурок на запястье. Всё. Вся моя жизнь умещалась в том, что я мог унести на себе.

Лишний. Слово крутилось в голове. Такое гладкое и обкатанное, как та галька на берегу. Лишний. Если бы мне сказали «плохой», я бы знал, что делать: стать лучше. Если бы «слабый» – стать сильнее. Но «лишний» значило совсем другое. Я мог бы стать каким угодно, хоть самым лучшим, хоть самым сильным, но это ничего не изменит, потому что для лишнего нет места. Нигде. Ни в этом доме, ни в этой деревне, ни, может быть, в этом мире. Может, моя последняя жизнь потому и последняя, что даже миру я не нужен?

Я лёг, натянув одеяло до подбородка, и уставился в темноту. Солома кололась сквозь ткань, коза за стенкой вздыхала, а я думал о папе. О том, как он ходил к маме и каждый раз клал камешек. Один, потом ещё один, потом ещё. Сегодня я положил свой, маленький и гладкий. А на папиной он всего один. Один-единственный, и, может быть, завтра ветер сдует его, и не останется ничего.

Положит ли кто-то камешек на мою могилу, когда не станет и меня?

Темнота не ответила. И тишина не ответила. И даже коза, шуршавшая сеном за перегородкой, не издала ни звука.

Часть 1. Глава 4. Наказание

Утро началось с того, что кто-то дохнул мне в лицо тёплым и мокрым. Я рывком сел на соломе и только потом сообразил: коза. Ночью я, видимо, придавил ей сено, и теперь она пришла разбираться. Ногой я зацепил ведро, и оно с глухим стуком откатилось в угол. Коза вздрогнула, но не ушла – дождалась, пока я слезу с сена, и тут же принялась за своё. Как будто мы договорились: у неё нет ко мне никаких претензий, пока я не мешаю ей кушать. А если честно – разве это плохой договор? Лучше, чем со всей деревней вместе взятой.

Тело гудело от рёбер до макушки. Ночевать на соломе – это вам не на лежанке у стены. Каждая косточка теперь знала своё место и громко о нём напоминала. Через щели в досках тянуло сыростью, одеяло отсырело, и я сам, наверное, тоже. Живот свело – не болью даже, а какой-то голодной тяжестью, о существовании которой я раньше даже не предполагал. Говорят, настоящий герой и три дня без еды обойдётся, и ничего, выживет. У меня не три дня, конечно, но и я не какой-нибудь былинный витязь.

Откуда-то со стороны дома долетел голос Жервены. Сухой и короткий, такой же, как вчера. И, наверное, я теперь всегда буду слышать такой же:

– Принеси воды. Выгони козу пастись. Потом на реку, постирать.

Я кивнул, хотя она меня не видела, и подумал: как это у неё получается – говорить так, будто я не ребёнок, а соседская корова, которую попросили подоить? Ни злобы, ни нажима. Хотелось бы найти хоть какой-то признак того, что она ко мне что-то чувствует – ну хотя бы сердится, хотя бы раздражается. А ничего не было. Была просто хозяйка, которая отдаёт распоряжения скотине.

Я выпустил козу за калитку на утреннюю росу. Она засемила сама, не оглядываясь, и я вдруг позавидовал тому, как просто у неё всё устроено: трава, вода, сено – и больше ничего не надо. Колодец был на дальнем конце деревни. Я нёс оттуда ведро, расплёскивая на каждом шагу, потому что руки после вчерашней колки дров не слушались, а в голову лезли противные мысли. Нагрузят работой – хоть при деле. Не нагрузят – буду стоять во дворе как пугало, а это, пожалуй, ещё чего хуже. Быть при деле – это уже почти счастье. А что, если однажды я сломаюсь или просто перестану справляться? Старого пса, который больше не сторожит, давно бы утопили в реке. Если уж с собаками поступают так, то кому я буду нужен, если даже охранять не умею?

Жервена забрала ведро, буркнула что-то себе под нос и ушла в дом. Вскоре из трубы пошёл дым, а за дверью зазвенела ложка о котелок. Потом – запах каши. Той самой, что она готовила каждое утро. Пустой и липкой. И всё равно – несмотря на то, что каша была действительно никакой, – у меня к горлу подступило что-то кислое и злое. Каша была не для меня. А может, и мне перепадёт? Хотя верилось в это с трудом. Когда-то давно каждое утро начиналось с миски, пусть и скудной, но моей. Кажется, это было в другой жизни, потому что этой миски у меня уже вторые сутки не было. Вот и сегодня, дверь в дом не открылась, Жервена меня не позвала.

Постирать оказалось тяжелее, чем я думал: на реке было ветрено, мокрая ткань била по рукам. Я возился с рубахой Жервены так долго, что ладони покраснели и потрескались. Потом отнёс всё на двор, развесил на верёвку, и только после этого взялся за топор. Сегодня он слушался чуть лучше. Вчера колун всё вводило вбок, а теперь режет. Попадал не с первого и не со второго удара, а где-то с третьего, но всё же попадал. И, странное дело, мне даже начало нравиться. Не чурки колоть, нет. Просто бить. Размахиваешься, опускаешь – и что-то раскалывается внутри вместе с поленом. Внутри от этого становилось на один удар сердца тише. И хорошо.

К вечеру никакой миски мне не вынесли. Я сидел на чурбаке и смотрел на дверь, пока не онемели ноги. В окне дома вздрагивал огонёк лучины, по занавеске шаркали тени – я даже по этим теням мог угадать, где сейчас Жервена. Вот у печки, вот у стола, вот снова у печки. Дом был в трёх шагах, но для меня будто бы в трёх днях ходьбы. Ладонями я пытался согреться под мышками, но руки были такими холодными, что под мышками только стыло сильнее. Начинили стучать зубы.

Коза снова вышла из загона. Я не стал её загонять. Пусть ходит. Хотя бы кому-то в этом дворе можно делать что хочется.

Когда наступила ночь и деревня уснула, я лёг на солому и стал ждать, когда живот перестанет урчать. Это случилось где-то к полуночи: сначала он бурчал, скручивался, напоминал о себе при каждом движении, а потом затих, и от этой тишины стало по-настоящему страшно, потому что урчащий живот просит есть, а замолчавший – уже нет. Он просто ждёт. Как хищник, уставший скрести когтями и устроившийся у двери. Он знает, что рано или поздно ты выйдешь, тебе некуда деться, а он? Он подождёт.

Я думал о Свете и Тьме. Не о тех, что в проповедях, а о тех, что вокруг. Все в деревне Светлые. Ладно, не все, но большинство! Кто-то чуть серее, кто-то блёклый, но так или иначе у всех Светлые Сосуды! Светлые! Правильные Светлый – значит хороший. Тёмный – значит плохой. Понятно даже ребёнку, и я ведь тоже ребёнок, и мне тоже понятно, вот только как-то всё не сходится. Потому что хорошие люди, все эти Светлые с прямыми спинами и чистыми Сосудами не покормили голодного мальчика. Ни один из них. За два дня. Они знают, что я в сарае. Знают, что Жервена не кормит. Видят, как я таскаю воду и колю дрова. И молчат. И проходят мимо. И это не мешает их Сосудам оставаться Светлыми. Ни капельки не мешает.

А я Тёмный. Я работаю, молчу, терплю. Делаю всё, что скажут. Не ворую, не кричу, не жалуясь. И всё равно – Тёмный. Мой Сосуд тёмен с рождения, и ничего из того, что я делаю или не делаю, не может это изменить. Я мог бы делать всё правильно, вообще всё, а толку ноль. Сосуд не посветлеет. Хоть всю деревню перестрой. Потому что Тьма – это не поступок. Это приговор.

Откуда-то из памяти вылез голос Криспа: «Ты проклят». Раньше я отмахивался от этих слов, как от назойливой мухи. Сейчас слова вернулись, но уже не как его, а как мои. Как будто я сам себе это сказал, и от этого стало тошно, потому что чужую глупость можно не слушать, а от своей уже не убежишь.

Следующий день был таким же, как предыдущий. Вода, дрова, двор. Жервена выходила, давала задание и уходила. Я делал. Она не кормила. К обеду я видел через окно, как она сидит за столом и ест. Одна. Спокойно. Ложка стучала о край миски – тихо, по-домашнему. Звук доносился через щели в стене. В нём не было ни злости, ни нарочитости. Жервена ела не назло – просто потому что была голодна. А я стоял снаружи, и запах тёплого хлеба обволакивал меня, как пыль. И от этой пыли даже горло пересыхало.

Крисп пришёл после обеда. Появился из-за забора, как всегда, в самый неподходящий момент, когда я складывал поленицу и руки дрожали от усталости. Раньше он прятался от взрослых, выбирал глухие углы и пустые дворы. Теперь же ему не нужно было таиться. Подошёл, встал рядом, посмотрел, как я дрожащими от напряжения руками поднимаю поленья, и ничего не сказал. Просто стоял и смотрел. Потом он толкнул поленицу, легко и небрежно, одним движением плеча, а три ряда, уложенных за полчаса, с грохотом посыпались вниз. Крисп хмыкнул, развернулся и ушёл.

– Аккуратнее надо, Отброс, – бросил он через плечо.

Я стоял и смотрел на разбросанные поленья. Три ряда. Полчаса работы. Он даже не напрягся, просто ткнул и ушёл. Раньше я бы разозлился. Или заплакал, может быть. Не знаю, но сейчас – ничего. Вся злость и ярость всё ещё утопала где-то внутри, оставляя меня без-

различным ко всему происходящему. Руки делали, голова молчала. Первое полено. Второе. Я начал собирать поленницу заново. Как вчера, как сегодня, как завтра.

К вечеру я уже знал, что украду. Не решил, нет, я именно знал. Не думал, не взвешивал, не спорил сам с собой. Просто знал, как знают простые вещи, из тех, что не требуют объяснений.

Я лежал в сарае, смотрел в темноту, и мысль была простая, как голод: «Нет. Не буду. Папа бы не одобрил.» Потом другая: «Папы больше нет.» И третья, самая тихая, самая спокойная, пустившая холод по спине: «А если я тут помру, кто вообще заметит? Жервена обрадуется. Деревне плевать. Крисп найдёт другую игрушку. Закопают рядом с отцом и забудут к ужину.»

Страшно? Да... Да! Но живот болит так, что заглушает любой страх и совесть! Пусть совесть сожрёт меня потом, но сейчас мне нужно поесть...

Когда наступила ночь и деревня уснула, стало тихо, темно и безлунно. В такой угольной и плотной темноте терялись даже близкие заборы. Ни огонька, ни голоса. Только собака Горлана – Брехня – гавкнула раз и тут же замолкла, будто сама испугалась собственного лая.

Я встал, оделся и вышел из сарая. Тихо придержав дверь, чтобы она даже не скрипнула. Погреб Хаспера стоял за его лавкой, приземистый и вросший в землю, с дверью на простой щеколде. Даже не на замке. Зачем замок в деревне, где все свои? Тёмных тут не считают за людей, но и за воров не считают. Или не считали. По крайней мере до этой ночи.

Я открыл щеколду. Пальцы делали всё сами, а я за ними наблюдал, как за чужими. Где-то далеко, за рёбрами, мелькнуло отцовское лицо, не злое, не разочарованное, просто лицо, но я прогнал наваждение. Потом. Потом буду думать. Сейчас – запах сухарей, и рот набирает слюну, и думать не получается. Внутри тянулись полки с горшками и мешками, пахло сухарями, вяленным мясом и чем-то кислым, забродившим. У меня затряслись руки, но не от страха, а от запаха, ударившего по пустому желудку, как кулак.

Взял немного. Сухарь, кусок мяса, пару морковок. Не жадничал. Столько, чтобы не умереть. Закрыв дверь. Ушёл.

Ел в сарае, давясь, почти не жуя, проглатывая куски целиком и обжигая горло сухой коркой. Сухарь был чёрствый, мясо жёсткое, но это была лучшая еда в моей жизни. На несколько минут мир стал простым и правильным: я ем, живот перестаёт болеть, тело наполняется теплом, расплзающимся от желудка к рукам и ногам.

А потом пришёл стыд. Не сразу. Сначала сытость, мягкая и ленивая. Потом усталость, навалившаяся тяжело и разом. А потом, как волна, снизу-вверх, от живота к горлу: горячий и мерзкий привкус чего-то неправильного, будто всё тело пропиталось горьким и презрительным ядом. Я вор. Я украл. У Хаспера, не сделавшего мне ничего плохого. Он просто жил своей жизнью и не замечал меня, как не замечают камень на дороге. А я залез к нему в погреб.

И тут я почувствовал другое. Не стыд, нет, что-то глубже, расположенное внутри, там, где Сосуд жил своей непонятной тёмной жизнью. Как будто что-то сдвинулось, качнулось, пришло в движение. Не больно, но я это почувствовал – где-то под рёбрами, ближе к животу, но глубже.

Я украл. И Сосуд отозвался. Отозвался не в момент самой кражи, нет. И не когда я ел. Нет. Он отозвался, когда стало стыдно. Именно тогда, я это точно знал. Как будто стыд – штука тяжёлая, настоящая. Не просто мысль, а что-то, что Сосуд может почуять, и Сосуд это почувствовал, уловил, откликнулся.

Я перевернулся на бок, подтянул колени к груди и начал думать. Медленно, осторожно, как разматывают перепутанную верёвку. Потянешь не за ту петлю и затянешь всё ещё крепче.

Крисп. Крисп бьёт меня регулярно, с нескрываемым удовольствием. Толкает, пинает, обзывает, ставит подножки. Не один раз – десятки. И ни разу, ни единого раза я не слышал, чтобы кто-то сказал: «Его Сосуд потемнел.» Ни разу. Крисп Светлый. Как был Светлым до того, как начал меня бить, так и остаётся Светлым после каждой расправы. Каждый раз.

Почему?

Я украл кусок мяса и пару морковок, и Сосуд отозвался. Крисп же избивает живого человека, и ничего! Чисто! Светлый! Как будто так и надо! А, может быть, так и надо? Чтобы Светлый бил Тёмного? Ведь Добро должно побеждать? Или дело в другом? Кража хуже побоев? Нет, ну как такое может быть, не может быть хуже. Как сломанное ребро может быть лучше украденного сухаря? Это понимает любой, кто хоть раз получал синяк.

Ладно, тогда в чём же дело?

Крисп бьёт и не чувствует ничего. Ему не стыдно. Ему даже в голову не приходит, что должно быть стыдно, потому что для него Тёмный – не человек. Он уверен, что прав. Тёмный – значит, можно. Так устроено. Так все говорят. И Сосуд молчит. Остаётся чистым, незамутнённым.

А я украл, и мне стыдно. Мне плохо. Я знаю, что поступил неправильно, знаю это каждой частицей себя. И Сосуд сдвинулся.

Выходит, дело не в том, что ты делаешь?

Мысль была странная, неудобная, из тех, что лезут в голову ночью и не отпускают. Я попробовал её отбросить, но она возвращалась. Настойчиво и упрямо, она возвращалась снова и снова.

Значит, важно не что ты сделал, а что потом чувствуешь?

Криспу плевать. И он Светлый. Мне не плевать. И я Тёмный.

Это значит... Я сел. Солома зашуршала. Сердце стукнуло, не от страха, от чего-то другого, незнакомого. От мысли, которую я не мог удержать в голове

Нет. Не может быть. Мир устроен не так, и так не может, не может быть!

Но Сосуд сдвинулся. И я это чувствовал. Не выдумал, мне не показалось. И Крисп Светлый. Это тоже факт. Не мнение, а факт.

Я снова лёг. Уставился в плотную, как войлок, темноту. Думал: может, я ошибаюсь. Может, дело в другом. Может, Тёмный Сосуд просто реагирует на всё подряд, и на кражу, и на стыд, и на плохую погоду. Может, у Криспа тоже сдвигается, просто никто не проверяет.

Но я знал, что вру себе. Чувствовал нутром: Сосуд отозвался на стыд, а не на кражу. На совесть, а не на поступок.

Уснул я не сразу. Долго лежал, слушал тишину и пытался как-то избавиться от мыслей. Туда её, в ту самую бездонную яму с незаконченными фразами! Туда! Но ничего не получилось.

Следующие два дня я работал. Вода, дрова, двор. Жервена командовала, а я выполнял. Мысль о Сосуде не ушла, но я старался не трогать её, как не трогают больной зуб: знаешь, что он там, но лезть туда страшно. Днём было легче, потому что руки заняты, а вечером, в сарае, мысли ложились рядом и не давали спокойно уснуть, всё переплетая с темнотой и шорохами.

Жервена один раз поставила мне миску у порога, не в дом, а у порога, как собаке. Жидкая каша, та самая. Холодная, и, наверное, просто вчерашняя. Но я съел её и даже стенки облизал. Хватило на день. На второй голод вернулся, и на этот раз он уже не просил, а требовал.

На третью ночь я снова вышел из сарая. В этот раз не к Хасперу. Туда нельзя дважды, даже я это понимал. Пошёл к Сабе. У неё за домом стоял небольшой сарайчик, где она хранила овощи. Я видел днём, как она выносила оттуда репу. Дверь на верёвочной петле. Проще простого.

Шёл тихо. Я знал тут каждый шаг: обошёл колодец стороной, мимо собаки Горлана – она привыкла к моему запаху и не гавкнула. Петлю снял быстро. Внутри темно, пахнет землёй и сыростью. Нашарил корзину. Репа, мелкая и кривая. Взял три штуки, сунул за пазуху.

И тут вспыхнул огонь. Не свет, нет, лучина. Саба стояла в дверях, маленькая и сухая, с лучиной в руке. Лицо пепельное. Глаза круглые. Она смотрела на меня, и я смотрел на неё. Секунда. Две.

А потом она закричала. Протяжно и тонко, как будто ждала этого всю жизнь, знала, что однажды Тёмный полезет в её сарай, и вот она дождалась.

– Вор! – сиплый и надтреснутый голос громко разнёсся по всей деревне. – Вор! Тёмный вор!

Я стоял. Репа за пазухой. Руки опущены. Бежать? Куда? Деревня в два десятка домов. Все знают всех. Все знают меня.

Зажглись огни. Сначала один, у Горлана. Потом второй, третий. Двери заскрипели. Послышались голоса. Сонные и злые.

– Что? Кто?

– Тёмный! В сарай залез!

Они выходили по одному. Горлан в нижней рубахе, с топором в руке. Не знаю уж, зачем ему топор, не прибьёт же он меня прямо сейчас? Хаспер, деревенский лавочник, посмотрел на меня, и у него лицо дрогнуло, потому что понял: понял, кто залезал к нему несколько дней назад. Я сжал подвеску на груди, не помня, когда потянулся к ней, просто пальцы сами нашли кость под рубахой и вцепились, как будто это могло что-то изменить.

И Крисп. Куда без Криспа? Он шёл рядом с Сабой, руки в карманах, в глазах у него было что-то спокойное и почти довольное. И от этого мне сделалось холоднее ночного воздуха.

– Ну вот, – сказал он. Негромко, почти ласково. – Говорил же. Тёмный – он и есть Тёмный.

Я молчал. Репа давила в грудь. Такая мелкая и жалкая. Три кривых корнеплода, вот цена моего суда.

– Отдай, – сказала Саба. Голос дрожал, но в нём была не жалость, а какое-то мелкое и тихое торжество. Она оказалась права. Все оказались правы. Тёмный, значит, вор. Тёмный, значит, плохой. Вот доказательство, вот репа, вот он стоит.

Я вытащил репу. Положил на землю. Медленно, аккуратно. Не бросил, а положил. И ждал.

– Что молчишь? – Горлан, хмурый и тяжёлый. Топор в руке не угрожает, просто держит. – Нечего сказать?

Нечего. Абсолютно нечего. Что я скажу? «Я голодный»? Знают. «Мне не давали есть»? Знают. Всё знают и стоят полукругом, запахнувшись в свои одежды, будто бы эти тряпки делают их важнее меня. Смотрят, как на подтверждение того, во что всегда верили.

– Утром к старосте, – сказал Горлан. – Там разберёмся.

Я кивнул. Развернулся. Пошёл к сараю.

За спиной зашептались. Не мне, не про меня, а как будто меня уже нет. Так говорят о вещи, которую скоро вынесут из дома.

Староста Бергус жил в самом большом доме деревни, единственном с двумя этажами. Просто так было положено: староста – лицо деревни, и лицо должно быть приличным.

Утром меня привели к нему. Нет, я не сопротивлялся, шёл сам, но всё равно не один. Хоть так не один. Горлан шагал рядом, тяжёлый и молчаливый. За нами Саба, Хаспер, ещё трое или четверо. И Крисп – он то забежал вперёд, то отставал, насвистывая что-то тихое и фальшивое. Хорошее утро. Для него – хорошее.

Жервена стояла уже у дома старосты. Ждала. На лице ни злости, ни стыда, вообще ничего, будто стёрла всё заранее. Она знала. Может, не про кражу, но знала, что рано или поздно будет что-то такое, и приготовилась. Встала чуть в стороне, чуть позади. Не рядом со мной, но и не с ними. Между.

Бергус вышел на крыльцо, грузный и медленный, с тяжёлым обвисшим лицом, сел на лавку и посмотрел на меня, потом на Сабу, потом снова на меня.

– Ну, – сказал он. – Рассказывай.

Саба рассказала. Быстро, горячо, путаясь в словах: лучина, сарай, репа, крик. Потом Хаспер, тише и осторожнее: у него тоже пропадало, несколько дней назад, он не уверен, но... Бергус кивал и слушал, лицо не менялось.

– Мальчик, – сказал он мне. – Правда?

– Правда.

Зачем врать? Репа была у меня за пазухой, все видели, отпираться глупо. Я не глупый. Голодный – да. Глупый – нет.

Бергус помолчал, поскрёб подбородок и посмотрел на Жервену.

– Жервена. Ты его кормишь?

– Когда заработает, – ответила она, как будто речь шла не о еде для ребёнка, а о дровах или воде из колодца.

– Он работает?

– Когда скажу.

Бергус снова помолчал. Я видел, как он соображает. Я – проблема. Но и то, что меня не кормили, тоже проблема. И он решал, какая из них меньше.

– Значит так, – сказал Бергус. – Отработаешь. У Сабы неделю. У Хаспера неделю. Что украл – вернёшь трудом. Справедливо?

Саба кивнула. Хаспер тоже, хоть и неохотно, скривившись, будто проглотил что-то горькое. Ему не хотелось видеть меня у себя под боком: Тёмный в доме – плохая примета, плохие разговоры. Но спорить со старостой – не выгодно, как ни крути.

– А если снова? – голос из толпы. Не Крисп, нет, какая-то знакомая женщина, но я не разглядел, кто. – Может, стоит сообщить в Светлый город? Там ведь есть... ну... для таких.

После этих слов повисла тишина, короткая и плотная, и ноги стали ватными. Светлый город. Папа обронил однажды: «Оттуда не возвращаются». Не объяснил. Не нужно было. Я тогда не понял. А сейчас, стоя посреди деревни на этом странном суде, осознал. Бергус поднял руку.

– Не надо. Пока не надо. Мальчишка отработает. Жервена за ним присмотрит. Правильно, Жервена? – Он сделал упор на имя мачехи.

– Присмотрю, – сухо бросила она в ответ.

Люди начали расходиться. Медленно, неохотно, как будто ждали большего. Зрелища, наказания. Три репки – не такое большое дело, но все всё равно ожидали расправы. Но Бергус сказал так, значит, так.

Крисп прошёл мимо меня. Близко, плечом к плечу. Наклонился.

– Светлый город, – шепнул он. – Скоро. Вот увидишь.

Я не ответил. Смотрел, как расходятся люди. Как Жервена уходит, будто бы ей только что полегчало. Она была рада. Не тому, что меня поймали, нет, а тому, что теперь я не её проблема. Две недели чужой заботы, чужого кормления, чужой ответственности. Две недели тишины. А уж потом-то она как-то присмотрит за мной. Но всё это будет потом.

К Сабе меня отвели в тот же день. Горлан довёл до калитки, постоял, посмотрел на меня, как на ведро помоев, которое собирался вытряхнуть в выгребную яму, сплюнул и ушёл, не попрощавшись. Саба жила в крепком доме с низким забором и аккуратным двором, подметённым так старательно, что казалось, будто пыль здесь боится оседать. Встретила она меня на пороге, вытерла руки о передник и оглядела с ног до головы, будто прикидывая, сколько от меня будет толку.

– Ну и что стоишь, как пень? – буркнула она, не здороваясь. – Воды натаскай, вон вёдра. И смотри мне, не расплёскивай, не разводи мне тут грязь. Потом к дровнику. Вон, топор у забора. Знаешь, как им пользоваться, или и этому учить? Ладно, сама гляну. Козла проверишь, чтобы не наглел, а то он у меня совсем от рук отбил.

Работа была знакомой: дрова, вода, двор. У Сабы то же, что у Жервены, только больше и аккуратнее. И ворчала она без остановки. Что я медленно таскаю воду – «этак до ночи провозишься, а мне ужин варить». Что полено поставил криво – «криво же, криво, у тебя глаз нет, что ли?».

Но ворчала она не только на меня. Часто под раздачу попадала и её собака. Завертится под ногами – «да куда ж ты лезешь, Репейка, под руку лезешь!». Собака эта, и правда, как репей – мелкая, цеплючая, из-под ног не уходит. В общем, ворчала Саба, как дышала, просто она не умела иначе. Или не хотела.

К вечеру она поставила передо мной миску. Щи, густые и горячие, с куском хлеба. Не у порога, как Жервена, а на лавку у стены. Я сел и взял ложку. Руки дрожали, потому что горячая еда за последние дни стала чем-то таким, чего я почти перестал ждать.

– Ешь давай, – бросила Саба, гремя чугуном у печи. – Человек должен есть, а то от тебя толку, как от козла молока. И не пялься, и не размазывай. Я не за красивые глаза тебя кормлю, а чтоб завтра снова дрова колот.

Я ел молча. Щи были самые обычные, но после всех этих дней на пустом животе каждый глоток казался чем-то большим, чем еда. Не радость, нет. Тепло. Тепло со вкусом, солёным и жирным, с привкусом варёной капусты и мягкого хлеба. Я ел медленно, растягивая каждую ложку, потому что боялся, что если съем слишком быстро, то тепло закончится.

Из дома, шлёпая босыми пятками по доскам, вышла девочка. Маленькая, в длинной рубашке не по росту, с тонкими косицами за плечами. Я сразу её узнал: это она смотрела на меня из окна этого дома. Тогда, в первый раз, она глядела на меня через стекло, не отводя глаз. Потом, в день похорон, спряталась за подоконником, как только я её заметил. А сейчас стояла в трёх шагах и снова смотрела – открыто, без тени страха, будто ей попросту никто не сказал, что меня нужно бояться.

– Дара! Ну куда опять полезла? – прикрикнула Саба, но не зло, а привычно, как ворчат на своих. – Иди в дом, нечего тут глазеть. И рубаху поправь, сползла вся!

Девочка посмотрела на Сабу, потом снова на меня, потом развернулась и ушла в дом. Не торопясь. Не испугавшись. Просто ушла, и босые ноги прошлёпали по крыльцу, а потом дверь за ней тихо закрылась и звуки пропали.

Ночью я лежал в углу Сабиного сарая. Сено здесь было куда чище и суше, чем у Жервены. Было тихо. Сытый живот молчал, и от этого молчания было непривычно хорошо. Не радостно, нет. Просто хорошо. Я лежал и прислушивался к себе, удивляясь, как много места в голове освобождается, когда живот не сводит. Странно даже. Раньше я не замечал, а теперь – как будто впервые можно думать о чём-то другом.

Казалось, что из дома до меня доносились какие-то звуки: шаги, стук посуды, чей-то голос, приглушённый стеной. Живые звуки чужого дома. Я слушал их и думал, что в моём доме сейчас тихо. Жервена, наверное, уже легла. Огонь погас. Папин стул пустует. Мой угол пуст. И ничего не изменилось, кроме того, что меня теперь там нет.

Я украл. Попался. И оказался здесь. Меня кормят, мне дали сено и крышу, и от меня хотят только работы. Не любви, не послушания, не благодарности. Нет. Простой работы! В этом нет ничего обидного – это самое простое и понятное из того, что случилось со мной за последние дни.

Тихо и упрямо ко мне вернулись мысли о Сосуде. Я украл, чтобы не умереть с голоду, и Сосуд отозвался. А те, кто морил меня голодом и не замечал, чьи Сосуды чистые и Светлые? Стояли и смотрели на меня, радуясь, будто нашли подтверждение тому, во что верят. И никому, никому из них не приходит в голову, что дело, возможно, не во мне, а в них.

Но эту мысль я додумать не смог, потому что её сменила другая. Может быть, не так уж и плохо быть наказанным. Нет, это просто ощущение, пришедшее из ниоткуда. Или из приятного

тепла в животе. Или от даже приятной усталости в руках и плечах. Я закрыл глаза и уснул. Может быть, и не плохо, что меня наказали. Так моя жизнь даже стала немного лучше.

Часть 1. Глава 5. Ясный

Неделя у Сабы закончилась так же, как и началась – без лишних слов. Саба вышла во двор утром, посмотрела на меня, потом на аккуратно сложенные поленья, потом на вычищенный загон, опёрлась рукой на ручку двери и бросила:

– Всё, иди. Иди к Хасперу. Он уже ждёт.

Не было в её голосе ни раздражения, ни злости. Всё-таки удивительно, как изменчива бывает эта сварливая женщина. Сегодня она тебя похвалит, завтра отругает, а потом погонит прочь. А сейчас так спокойно, сухо и кратко, просто передаёт меня в другие руки.

Меня провожала только её собака. Репейка вылезла откуда-то из-под крыльца, покрутилась у моих ног, ткнулась мокрым носом и куда-то убежала. А я подхватил свой узелок со скромными пожитками, зачем-то обернулся, посмотрев на дом, ставший для меня и наказанием, и спасением одновременно. Нигде в окнах не увидел Дару, что, впрочем, даже хорошо. Девочке будет лучше, если рядом с её домом перестанет ошиваться Тёмный.

Хаспер встретил меня у своей лавки. Он не кивнул и не поздоровался. Просто молча показал пальцем внутрь: заходи, мол. Жилистый и сухой, молчаливый – он и в обычные дни говорил мало, а со мной, как я понял с первого же утра, он решил вообще не разговаривать. Работа у него была не такая, как у Сабы: не колоть дрова, не носить воду, не помогать по хозяйству. У Хаспера – лавка. Мешки таскать с телеги в лавку, из лавки в погреб. С крупой, мукой, солью и ещё с каким-то кислым товаром, – от последнего чесалось под ноздрями. Пересчитывать. Складывать аккуратно, одно к одному. Подметать в лавке. Всё молча. Хаспер, сидевший за прилавком, шевелил губами, считая, и изредка – не глядя на меня – показывал пальцем, куда поставить. Палец вверх – на верхнюю полку. Палец вбок – в угол. Палец вниз – в погреб. Тот самый погреб, куда я в ту ночь влез через щеколду. Я туда ходил каждый день, и каждый день думал: вот здесь я был тогда. Здесь стояли сухари. Здесь лежало вяленое мясо. И Хаспер это помнил. Я думал: он нарочно отправляет меня вниз. Глумится потихоньку. Смотрит, чтобы я видел то место, где впервые оступился и сделал ошибку. А вечером наверняка, когда я уходил, он спускался и проверял: не унёс ли я чего. Один раз я всё-таки поймал его на этом – случайно оглянулся, и он как раз открывал дверь в погреб. Отвернулся я быстро. Но ни один из нас не говорил ни слова.

Ел я в углу у двери, из отдельной миски. Миска появлялась на лавке, куда он мне показывал пальцем, и так же молча исчезала, когда я заканчивал. Еды хватало, чтобы не умереть, и ни ложкой больше. Молчаливость лавочника в какой-то момент начала давить. Саба хотя бы ворчала, бросала в пустоту:

– Ну и что ты стоишь, как пень?

Огрызалась на Репейку, ругалась под нос – на себя, на погоду, на скотину. Но это был голос. Живой голос! Пока Саба ворчала, я чувствовал себя живым. А у Хаспера было тихо, и от этой тишины к вечеру начинало подёргиваться плечо – само, будто тело пробовало напомнить о себе хоть чем-то. У Сабы ругали – значит, замечали. А у Хаспера не замечали. Здесь меня просто не было.

На третий день зашёл Крисп. Дверь звякнула, он шагнул в лавку. Покрутил головой, оглядывая полки, будто впервые здесь, хотя бывал здесь тысячу раз. Подошёл к Хасперу, попрощал соли. Хаспер насыпал в мешочек, взвесил, получил медяки, кивнул. Но Крисп не уходил. Стоял, постукивая пальцем по прилавку, а потом медленно обернулся ко мне. Я как раз поставил очередной мешок в угол.

– Что, Мазок, у Хаспера теперь на побегушках? – сказал он, будто действительно ждал ответа. – Оно и правильно. Ну кто ещё пыль протрёт лучше, чем ты, Тёмный?

Он подошёл ближе. Ткнул носком сапога в мешок.

– Плохо стоит. Кривовато.

Потом отступил и топнул сапогом у порога, стряхивая грязь. Засмеялся и вышел. На это лавочник поднял голову, бросил взгляд в мою сторону и вернулся к своим записям.

И я понял: вот оно. Хаспер не за меня. Но и не против. Он просто человек, у которого я украл. Перед ним провинился и теперь отрабатываю. Вот и всё. Ни злобы, ни жалости, ни осуждения. Я стоял в его лавке, как стоит любая его вещь, – каждая на своём месте, и Тёмный туда же, в угол. И я не знал, как к этому относиться. У Криспа всё было ясно: он бил, потому что мог. Хаспер относился ко мне, как к одному из мешков: утром принесли, вечером унесут.

Через четыре дня неделя закончилась. Хаспер подошёл к двери лавки и коротко бросил:

– Всё. Иди.

Чуть ли не первые сказанные им слова.

Пройдясь по деревне, я подошёл к дому. Если это ещё можно было называть моим домом. На улице никого не было, густая полуденная тишина накрывала двор. Стоя на крыльце, я подумал, что за две недели отвык от такой тишины. У Сабы во дворе всегда что-то брякало, у Хаспера – хрустело, гудело, тикало. А здесь, на улице у старого дома, – только моё дыхание, мои мысли да шорох сапог по земле.

Заходить в дом я не стал. Постоял секунду на крыльце и пошёл в обход, к сараю. Там теперь было моё место, а не за той дверью.

Сарай встретил как раньше. Солома слежалась, запах тот же, коза всё так же переступала за перегородкой. Жервена не вышла. Через час моя миска вновь появилась у порога – не в доме, а у порога, – и в ней была та же жидкая каша, что и до отработки. Будто я ушёл отсюда собакой, собакой и вернулся. Ничего не изменилось. И в этом было самое страшное. Две недели прошли так, будто их не было, – я просто выпал из дома на четырнадцать дней и теперь вернулся. Надо жить дальше так же, как и до всего происшедшего.

Но жить дальше так же не получалось. И сарай, и каша – ерунда. Деревня изменилась. За две недели она стала другой, а я этого не видел, потому что был у чужих. А теперь вышел утром за водой, и меня ударило – не сразу, не одним разом, а кусочками, постепенно, пока я шёл до колодца и обратно. Тэм, рыбак, – самый тихий из деревенских, как мне казалось, – раньше хоть замедлял шаг у калитки, хоть бросал в мою сторону быстрый взгляд, – теперь прошёл мимо, не повернув головы, будто меня вообще нет. Мирна, увидев меня шагах в двадцати, подхватила на руки чужого соседского мальчишку и унесла его в дом, что-то приговаривая. Горлан, стоявший у ворот своей кузни, посмотрел в мою сторону и тут же – мимо. Не отвернулся, нет. Именно мимо. Как будто я своим видом порчу ему пейзаж.

И Крисп. Крисп изменился сильнее всех. Раньше он делал свою гадкую работу по-тихому: ждал меня в глухих углах, хватал за шиворот за колодцем, толкал в спину, когда рядом не было взрослых. Теперь не прятался. Встал у колодца, когда я набирал воду, и толкнул меня плечом, да так сильно, что я чуть не упал. Рядом стояли две бабы и дед Тэма, и все они посмотрели – никто не сказал ни слова. Крисп ухмыльнулся и пошёл дальше. Бабы продолжили свой разговор, будто ничего не произошло.

* * *

Слух дошёл до меня случайно, через забор. Я сидел во дворе и строгал палку – просто так, чтоб руки делали хоть что-то, – а Жервена говорила с соседкой через ограду. Половину слов я не слышал, ветер уносил, но одно пробилось чётко:

– Ясный едет. Будет проверка.

Соседка говорила тихо, полушёпотом, как говорят о болезни или о покойнике. Жервена ответила что-то коротко, и разговор оборвался.

Она вернулась во двор, нашла меня глазами. Подошла, остановившись в двух шагах.

– Слышал? – спросила она. – Ясный едет. Проверка. Так положено, такой порядок. Может, и не из-за тебя, мало ли что. Но ты сиди тихо. Слышишь?

Я кивнул. Она постояла, будто хотела добавить что-то ещё, но не добавила – развернулась и ушла. А я остался с недостроганной палкой. Слово «Ясный» я слышал и раньше – от папы пару раз, от соседей, – всегда так, будто в доме заболел кто-то старый и все ходят на цыпочках.

К обеду деревня зашевелилась. Словно все одновременно поняли, что надо привести себя в приличный вид. Саба скребла крыльцо так, что казалось, сейчас сдерёт доски. Горлан зачем-то перекрашивал забор, хотя, на мой взгляд, краска ещё могла бы послужить сезон или два. Мирна переодевала детей – я видел, когда проходил по двору: то в белые рубашки, то во что-то похуже. Не могла решить, как им стоять перед Ясным. Никто не наводил порядок для себя. Наводили так, как наводят, когда вот-вот придёт чужой и станет оценивать.

Бергус обошёл дворы. Я следил за ним издали, а он разговаривал со всеми встречными. Кивал, хлопал по плечу, что-то советовал. С Горланом он говорил дольше, чем с другими, и у Горлана после этого разговора закаменели плечи. Мимо меня, сидевшего во дворе, Бергус прошёл, не повернув головы. Я не ждал, что он скажет мне что-то, а он и не сказал. Только в какой-то момент я услышал его голос в сторону Горлана:

– Ничего лишнего, ничего громкого. Как всегда.

Сказал он это кузнецу, но я знал, что речь шла про меня.

Потом пришёл Крисп. Он появился, когда я колол дрова – снова, потому что больше делать было нечего, а сидеть и ждать было невыносимо. Встал у стены, прислонился спиной, скрестил руки на груди, расслабленно, будто в гости зашёл.

– Слышал, Выкормыш? Ясный едет. Знаешь, зачем?

Я молчал. Удар топором – полено разлетелось на две половины. Руки двигались сами, я на них даже не смотрел. Научился уже.

– За тобой. Один тёмный на всю деревню. Думаешь, совпадение? Заберут тебя. Туда, где такие же живут. Говорят, оттуда не возвращаются. Хотя... может, тебе там и лучше будет. Здесь-то тебя всё равно никто не ждёт.

Он постоял ещё немного, почесал нос, зевнул. Потом оттолкнулся от стены и пошёл, а у калитки обернулся – не сказал ничего, только посмотрел. В этом взгляде не было злобы. Он был доволен! Да, доволен! Ему нравилось, что мне плохо. Я понял это тогда впервые.

* * *

Ясный приехал на третий день после слуха – утром, когда роса ещё лежала на траве. Я смотрел через щель в заборе, которую папа так и не успел заделать. Щель была узкая, но дорогу через неё видно было неплохо.

Телега у Ясного была обычная, деревенская, одна лошадь, простой возница. Но человек, сидевший в ней, обычным не был. Белым на нём было всё! Одежда, накидка на плечах, даже сапоги – всё меловое, до рези в глазах. Лицо, на котором терялся возраст, не молодое и не старое, алебастровое, будто его никогда не касалось солнце. Волосы дымчатые, почти прозрачные, как паутина.

Бергус вышел первым. Поклонился – не низко, но заметно. За ним потянулись другие: Горлан, Тэм, ещё кто-то. Встали полукругом, молчали. Наверное, есть какие-то правила приличия или ритуалы, по которым вести себя нужно именно так. Не знаю, но Ясный кивнул и всё. Деревня выдохнула. Но не расслабилась. Даже из-за забора я это чувствовал. Напряжение не ушло, но всё же как-то стало спокойней.

Весь день Ясный не выходил из дома Бергуса. Староста обходил дворы, назначал порядок: кто за кем, когда. К нашей калитке он подошёл, не заходя во двор. Жервена вышла к нему.

– Завтра. После третьего двора, – сказал Бергус. – Будьте оба.

На меня он не посмотрел. Жервена кивнула. Бергус пошёл дальше.

Жервена долго стояла у окна, тёрла одну руку о другую, медленно, будто не замечая. Потом повернулась ко мне:

– Рубаху чистую надень. И молчи. Что бы он ни спросил – молчи. Говорить буду я.

* * *

Утром меня разбудила Жервена.

– Вставай, – раздался её голос из-за двери сарая.

До дома Бергуса шли молча. Она спереди, я плёлся на три шага позади, как и полагается таким, как я. Тёмным. Улица в этот час была пустой, и эта её пустота казалась нарочной, будто соседи заранее попрятались, чтобы не пересекаться со мной. И только на входе в дом старосты мы повстречали Тэма с женой. Что-то мне показалось странным в их лицах, они будто светились каким-то неземным светом. Всё встало на свои места, когда я обратил внимание на то, как женщина держит свою ладонь на животе. Ждёт малыша – не иначе. И сейчас Ясный сказал им, что всё у их первенца будет хорошо.

– Заходите, – сказал Бергус, увидев нас через открытую дверь.

Вроде бы и спокойный голос, но было в нём что-то такое, что мог услышать, наверное, только я. Именно так звучат слова человека, который совсем не хочет видеть в своём доме незваных гостей. И таким гостем был я. Войдя внутрь, я немного пошатнулся. Даже в сенях воздух был каким-то не тем. Плотный, пахнувший воском и ещё чем-то сладковатым. Видимо, Ясный окуривал помещение какими-то маслами и травами.

Стол был сдвинут к окну, и на нём – свиток, чернильница, перо. Сам Бергус встал у стены, заложив руки за спину, и не шевелился так старательно, что казалось, будто он тут не хозяин, а подставка для стен. А вот за столом сидел настоящий владелец помещения – Ясный.

От одного только взгляда на него меня пробрал холод. Не такой, какой бывает на ветру, а внутренний, тянущий, начинающийся не снаружи, а где-то во мне самом. Одежда у него была меловой, чистой до слёзной рези в глазах, и я, моргая, отводил взгляд от него. Но глаза всё равно поворачивались обратно, словно их тянуло. Как мотыльков тянет на свет. Так меня тянуло и обжигало о Ясного. Ещё вчера я обратил внимание на его лицо, но сегодня мне удалось рассмотреть его глаза. Платиновые, светлые до того, что казались почти прозрачными. Я ещё подумал, что такие глаза бывают только у мертвецов. Но Ясный был живым. И смотрел он на меня без вражды. Даже без любопытства.

– Рендар. Тринадцать лет. Тёмный Сосуд с рождения. Верно? – бархатным голосом уточнил он.

Жервена шагнула вперёд, опередив меня.

– Верно, господин. С рождения. Мать родами умерла, сразу, он её и не видел никогда. Тринадцать лет, как её нет. Отец недавно помер. Я его одна теперь тяну.

– Я спросил мальчика, – недовольно ответил Ясный.

Жервене будто пощёчину дали. Я всей спиной почувствовал, как воздух вокруг загустел от её злости. При мне с ней раньше никто так не говорил. И за это потом отыграются не на Ясном, а на мне. Потом, когда мы вернёмся домой. Но сейчас нужно было отвечать, и я собрал голос в одно слово:

– Верно.

Ясный кивнул. Медленно приподнялся и подошёл ко мне.

– Руку.

Я протянул. Пальцы предательски дрожали, но я ничего не мог с этим поделать. Не знаю, мне не было страшно, но было явно очень не по себе. Взяв меня за запястье двумя пальцами, Ясный немного помедлил, прожигая меня своим пепельным взглядом. А потом он закрыл глаза. И тогда оно началось.

Из-под рёбер, откуда-то изнутри, поднялось тепло – не такое, какое бывает от печки, и не такое, что разливается по телу с первыми лучами весеннего солнца. Нет. Совсем иное. И я вдруг понял, впервые за все тринадцать лет понял по-настоящему: вот он какой, мой Сосуд. Вот оно то, чего в деревне боятся. Тёплое, тёмное, мягкое. Совсем не страшное. Моё.

А потом пришёл его Свет. И этот свет ударил меня изнутри, будто в меня вошла раскалённая игла и начала выжигать на костях какие-то узоры. Вспышка невероятной боли скрутила меня так, что я остался стоять только благодаря тем двум пальцам, что держали меня за запястье. Но агония, как началась, так и закончилась. И тогда я понял, что болит у меня совсем не тело. Что-то затекало в меня сквозь эту иглу, разливаясь во мне, пытаюсь выжечь всю тьму из моего Сосуда. Меня будто вывернули наизнанку, и деться было некуда.

Но темнота моя не ушла. Не съёжилась, не спряталась. Она просто не поддалась и осталась для меня моей мягкой и тёплой подушкой. Она осталась внутри, как стоит вода в колодце, и свет его прошёл сквозь неё, не забрав с собой ничего. Не отмыл. Не высветлил.

Ясный открыл глаза. Отпустил моё запястье и вернулся к столу. Обмакнул перо в чернильницу и неторопливым движением начал что-то писать.

– Тёмный, – сказал он не нам, а свитку, скрипя пером по плотной бумаге. – Свету не поддаётся.

За моей спиной Жервена втянула воздух сквозь зубы – один короткий свист, и я по этому свисту понял, что для неё эти слова значат куда больше, чем для меня самого. Я-то ещё не знал, как с этим жить, а она уже знала и прикидывала, во что ей это обойдётся.

– Инцидент с кражей зафиксирован, – продолжал Ясный, не поднимая головы. – Отработка назначена и выполнена. Отец погиб. Опекун – мачеха. – Он поднял глаза, и они остановились на Жервене. – Жалобы?

– Нет, господин, – сказала Жервена. – Никаких жалоб. Мальчик тихий.

Ясный посмотрел на неё, чуть дольше, чем того требовало записанное на его лице равнодушие, а я поймал себя на мысли, что, пожалуй, он видит её насквозь. И, бьюсь об заклад, он понимает, в каких условиях теперь я живу. Но знать – не значит вмешиваться.

– Свободны.

Мы двинулись к двери. Но, едва Жервена вышла за порог, до меня донеслись слова Ясного:

– Как себя чувствуешь? Не болит ничего?

Я обернулся, не сразу поняв, что это обращаются ко мне. Ясный смотрел уже не так, как смотрят на вещь. В его платиновых глазах на короткое мгновение мелькнуло что-то человеческое.

– Не болит, – ответил я, не узнавая своего голоса.

– Что же? – Он помедлил. – Держись.

Ясный кивнул и снова уткнулся в свиток, и эта его короткая человеческая минута кончилась, будто её и не было. Я вышел.

Ноги казались ватными, и переставлять их приходилось с усилием, а в голове гудело так, будто мне только что ударили по уху. Проверка прошла, но вот что она изменила? Всего несколько слов: «Тёмный. Свету не поддаётся». Что мне делать с этими словами?

К своему собственному удивлению, вечер у меня оказался спокойный. Даже Жервена не выдала никаких указаний, поэтому, впервые за долгое время, предоставленный самому себе, я бродил по деревне. Уже смеркалось, поэтому я не рассчитывал кого-то увидеть. Только у дома Бергуса довелось подслушать его разговор с Ясным. Не то чтобы я специально пытался это делать, но и не таил в себе надежды узнать что-нибудь о том, что же со мной будет дальше. Поэтому жадно пытался разобрать каждое слово.

– У него, – говорил Ясный, – Сосуд чистый. Понимаешь?

– Как же чистый, Тёмный же! – отвечал ему староста.

– И я о том! Темнее ночи! Я попытался развеять, надежду поселить, но он

Так и не закончив свою фразу, Ясный встал и начал ходить по комнате.

– Мальчишка тихий, – прервал тишину Бергус. – Работает. Не буянит. Отработку прошёл без нареканий.

– Я не говорю, что он дикий. Я говорю, что в нём Тьма. Чистая Тьма! – Я впервые услышал, как Ясный повышает голос. – Ещё одно прегрешение, и я обязан буду забрать его. Для его же блага. Вы понимаете.

– Понимаю.

– Проследите, чтобы повода не было. Предупредите опекуна. И окружение. Мальчик не должен оступиться.

И кто поймёт этих Светлых? Или кто поймёт этих взрослых? Как в них уместается столь противоречивое безразличие и человеческая забота? Я не мог найти ответов на эти вопросы, но уже услышал всё, что хотел, поэтому тихо скользнул вдоль забора и медленным шагом направился к своему сараю.

Меня так пугали этим человеком, да и мне самому, чего уж говорить, не было приятно с ним находиться, но он не производил впечатления чудища. Что будет, если он меня заберёт? И почему он считает, что это для моего же блага? Блага. Какого блага?

* * *

Ясный уехал на следующее утро, а я провожал его белую телегу через щель в заборе. Бергус шёл с ней рядом до конца деревни, а потом остановился и ещё долго смотрел ей вслед. Смотрел и я. И только когда меловое пятно наконец растворилось в жемчужной утренней дымке, я выдохнул. Нет, мне не стало легче, но оказалось, что я и не дышал толком всё это время. Вот он уехал, и всё же стало как-то проще.

Староста зашёл к нам через час. Вернее, уже не к нам. К Жервене. Какое-то время они разговаривали, пока я сидел в сарае, и только когда староста попрощался и вышел из дома, мачеха подошла ко мне.

– Сиди тихо, – сказала она, по какой-то причине пытаюсь спрятать яд в своих словах. – Не высывайся. Не разговаривай ни с кем. Понял?

– Понял.

– Если что-нибудь случится, то меня... – Она махнула рукой и вышла.

Что её? Я не понимал. Но никаких противоречий её наставление у меня не вызвало. В общем-то, я так и планировал. Сидеть тихо, не высываться и не нарываться на неприятности.

Вот только Крисп. Светлый гадёныш нашёл меня в тот же день. Я выносил помои за сарай, и он ждал за углом.

– Ну что, мямля, проверили тебя? – усмехнулся тот. – Говорят, темнее задницы твой пузырь. И ведь не отмыть! Не отмыть, да?

Я молчал.

– Одна жалоба, – он поднял палец и помахал им в воздухе. – Одна. И тебя увезут. А ты знаешь, куда?

Стискивая зубы и стараясь держать себя в руках, я попытался его обойти.

– В яму. Слышал про яму? Там тёмных держат в подвалах. Без окон. Говорят, сперва все перестают разговаривать, а потом? Потом только трупы с дерьмом оттуда и выгребают!

Что-то сдвинулось во мне, и я, обронив вёдра с помоями, остановился. Мои пальцы сжались, дёрнулось плечо и рука поднялась в замахе. Вот только я своё движение не завершил. Меня никто не учил бить, и я не знаю, вышел бы мой удар хоть сколько-то удачным. Но остановился я не от этого. Секундная слабость, прорастившая во мне злость, вернула мне что-то, пропавшее со смертью отца. Я почувствовал. Неужели та пропасть, в которой тонули обиды, наконец-то заполнилась?

Я не ударил. Разжал пальцы, поднял вёдра и пошёл по своим делам. А Крисп смеялся у меня за спиной:

– Правильно, правильно! Терпи, пузырь! Тебе теперь только это и осталось.

* * *

Вечера того дня я ждал, как ждут начала грозы после изнурительно жаркой погоды. Вот только с приносящей свежесть грозой пришла и буря. Вернувшись от помойной ямы с пустыми ведрами, я увидел, как у стенки сарая стояла Жервена.

– Зайди в дом, – бросила она, не поднимая глаз.

В доме я не был с похорон папы. И только сейчас я понял, что меня здесь больше ничего не держит. Это был уже не мой дом. И никаких сожалений от этого я не испытывал. Я просто прошёл за мачехой через сени, проследил за тем, как Жервена присаживается за стол, а сам остался стоять. В общем-то, каких-то других вариантов у меня и не было. Ни моего стула, ни моей лежанки в доме уже не было.

– Бергус приходил, – сказала она. Помолчала. – Приходил, говорил. Если из-за тебя неприятности будут, спрос будет с меня. Я за тебя отвечаю, пока ты тут. С меня спросят. Не с тебя.

На меня она всё так же не смотрела, а я, впрочем, не смотрел на неё. Я слушал. Слушал, как тяжело ей даются эти слова, слушал, как стучит по полу её каблук, слушал, как шуршат пальцы её рук, стремящиеся просто перетереть друг друга.

– Мне и без тебя хватает, – продолжила она, посмотрев в тёмный угол за печью, где висел папин полушубок. – Мужа нет. Хозяйство на мне одной. Деревня и так косо смотрит, что я Тёмного у себя держу. А если ты чего выкинешь? Если ты хоть что-то выкинешь, мне здесь вообще жизни не будет! И тебе! Тебе тоже не будет места!

– Я ничего не делаю, – прошептал я.

– Вот и не делай. Не высовывайся. Не отвечай никому. Не давай поводов. Заберут тебя – мне перед всей деревней стоять и объясняться, почему не углядела!

Потом она замолчала. Молчал и я. Думал уже, что на этом всё и я могу спокойно пойти в свой сарай, но Жервена вновь начала говорить:

– Мать твоя всё загубила. Родить – родила, а потом сдохла. Бросила Борена с тобою на руках. Одного оставила! А теперь и его нет! А вот ты остался

Я не сразу её понял. «Загубила» – это как? Мама ведь просто умерла, когда я появился на свет, это же не её выбор был! Так вышло! Я посмотрел на мачеху и стал ждать, что ещё скажет мне эта женщина. Может быть, ещё какая-нибудь колкость – да что угодно! Но она ничего не прибавила. Сидела, успокаивая свои руки, смотрела в одну ей видимую точку между миской и краем стола, молчала.

Во мне вновь что-то надломилось. Натянулось, сдвинулось, заскрипело – как угодно! Но что-то в глубине моей груди вновь дало о себе знать. Всё же так просто. Так просто винить всех на свете в том, что Нет, даже не так! Так просто винить во всё меня. Никто, ничего не делал, не виноват. И всё из-за Тёмного. И ей от этого легче. А мне?

Мне её стало жаль.

Но я ничего не ответил. Не стал ждать каких-то слов или действий. Не стал ждать еды, объяснений. Эта женщина вынуждена терпеть меня, вынуждена делать вид, что ей не всё равно, вынуждена будет делать многое из того, чем никогда не хотела бы заниматься. Ей нет дела до меня, а значит, меня не должна волновать её судьба.

Молча развернувшись, я вышел из дома, постоял на пороге и вернулся в сарай. Лёг лицом к двери и постарался уснуть. Это был тяжёлый день, тревожный. Много встало на свои места, и это, наверное, было хорошо.

Однако сон ко мне не шёл, да я его и не звал. Я лежал, слушал, как за стеной переступает коза, как в доме, за двумя стенами и сенями, Жервена всё ходит из угла в угол, скрипя половицами. Так странно, что даже сейчас, решив для себя, что меня не будет волновать, как дела у мачехи, я всё равно прислушивался к тому, как она живёт. И почему-то меня радовало, что она тоже не спит.

Тишину и монотонность привычных звуков прервал скрип двери. Как я отвлекся от неё, почему перестал следить за входом? Но перестал, и сейчас, когда в сарай уже кто-то вошёл, я понял, что не зря все эти годы возвращал в себе эту привычку. Всегда надо ждать беды, и вот она пришла.

Мгновенно сев, я сразу узнал силуэт, подсвеченный лунным светом. В проёме двери, наполовину заслонив собой проход, небрежно стоял Крисп.

– Не спишься тебе, девица? – усмехнулся он.

– Уходи, – тихо ответил я, изо всех сил придавая своему голосу уверенности.

– Как невежливо с твоей стороны! – деланно возмутился парень.

– Уходи! – повторил я.

– Ладно-ладно, уйду. Сейчас-то уйду, да. Но ведь я не просто так пришёл, верно?

Я не стал задавать вопрос, на который он меня провоцировал. Не хочу играть в эти игры. В конце концов, мне и правда совсем не интересно, зачем он явился.

– Я просто предупредить тебя хотел, – продолжил Крисп, когда понял, что не дожждётся моего ответа. – Ты не думай, я же о тебе забочусь. Просто завтра я к Бергусу пойду.

– Так иди, я-то тут при чём?

– Как при чём? А кто на меня сегодня с топором кинулся?! – ехидно рассмеялся тот.

И вот что мне ему ответить? Не знаю я, кого он сегодня смог довести. Но эта мысль, как появилась, так сразу и пропала.

– Тебе никто не поверит.

– Да неужели? Тёмный, которого даже Ясный не смог отмыть? Поверят, поверят! Ещё как поверят, пузырь! И Бергус поверит! И вся деревня поверит! А Ясный даже разбираться не станет! Он там у себя всё про тебя записал!

А ведь и правда поверят. Вот, что ни говори, но мир чудовищно несправедлив! Я не виноват, что я Тёмный! Не виноват! И то, в чём меня завтра обвинят, я тоже не совершал!

– Понял наконец, да? – продолжал ухмыляться Крисп.

– Это ложь

– И пусть, – ответил он, и ответил совершенно без злости, почти с досадой, как отвечают ребёнку, который задал глупый вопрос. – Ну и что? Кого это, Порченный, волнует? Тебя? Меня? Бергуса?

Так и было. Никого.

– Но ты не подумай, мазок, я же не просто так решил тебя предупредить. Сам посуди, у тебя теперь всего два варианта остаётся. Можешь подождать, когда я уйду, своровать себе что-то пожрать, набить своё брюхо до отвала и наслаждаться прекрасной ночью, ведь она такая у тебя будет последняя. Как не насладиться-то? Ну? Вариант же? А ещё ты можешь взять сейчас все свои манатки, завязать в узел и свалить, куда глаза глядят, чтобы духу твоего в деревне даже не осталось! А? Тоже неплохо, да?

Крисп ещё раз рассмеялся, а потом резко развернулся и захлопнул дверь. Я остался один. И тогда из самой глубины души поднялась мысль. Такая простая, без каких-либо «если», без каких-то «но», без каких-либо продолжений.

Всё кончилось.

Не завтра кончится, когда он пойдёт к Бергусу. И не тогда, когда за мной приедет Ясный. Нет.

Всё кончилось прямо сейчас. Вот в эту минуту, в этой чернильной тишине ночи. Кончилось.

И у меня оставалась одна ночь. Одна ночь на то, чтобы бежать из деревни или придумать, как завтра обелить своё имя. Обелить. Можно ли обелить что-то, если ты Тёмный?

Часть 1. Глава 6. Кровь

Ночь тянулась нестерпимо долго. Не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как ушёл Крисп. Может быть, час, может и три. Сквозь щели в стене не пробивалось ни огонька, небо затянули тучи, и я не различал даже собственных рук. Только мышь скреблась где-то в углу, да коза мерно дышала во сне.

А я так и лежал, пытаюсь найти в чернильной тьме очертания двери. Мысли сбивались, и я только надеялся, что этой ночью ничего плохого уже не случится.

Слова Криспа никак не шли из головы. Они громоздились одно на другое, тяжёлые, как мешки у Хаспера в углу. «С топором на меня кинулся». «И Бергус поверит, и вся деревня». «Ясный даже разбираться не станет». Я перебирал их так долго, что они оторвались от Криспа и стали просто словами. Чужими, пустыми. И всё равно не отпускали.

«Одна ночь, чтобы что-то придумать», – сказал я себе, когда Крисп ушёл.

Ночь почти прошла. А я так ничего и не придумал.

И тут, нарушая тишину, в моей голове прозвучал папин голос. Да, ещё вчера мне казалось, что я начал его забывать! Силился вспомнить, но не мог. И вот он, в моей голове, звучит так ясно, будто отец стоит совсем рядом. Вспомнилось что-то забытое, тёплое, а потом пропало.

– Не сдавайся!

Он часто так говорил. Чаще, правда, говорил, чтобы я сидел тихо и не давал никому никакого повода. Но и держаться он меня тоже учил. Несмотря ни на что, отец всё же пытался вырастить из меня мужчину. Больше напутствий у меня от него и не осталось. Но и этих хватало.

Я честно пытался придумать выход. Уйти? А куда? Реку я знал хорошо, сживал на её берегу часами. Но дальше деревни не бывал ни разу. А у могилы матери был всего дважды – в детстве, с отцом, да на папиных похоронах. Бежать в лес, за Сосновую горку? Леса я не знал и боялся, а с моим-то богатством сгинешь в первую же ночь. Может, пойти к Бергусу самому? Рассказать, как всё было на самом деле? Вдруг да поверит? Хотя нет. Куда там. Крисп верно сказал: правды тут никто не ищет. Сколько я ни думал, всякая мысль приводила в тупик.

Было время, когда меня выручала простая мысль: папа вернётся, папа во всём разберётся. Я прятался за ней, как за стеной, – от Криспа, от мачехи, от холода. Наверное, его всё же сломала жизнь. Он сам начал больше молчать и терпеть, чем пытаться что-то исправить. Не лез на рожон, и меня этому учил. А теперь его и вовсе не стало. Я ещё по привычке думал «папа что-нибудь» – и всякий раз спохватывался, что некому.

Сквозь щели наконец просочился серый рассвет. Со двора донеслось, как хлопнула дверь избы, – мачеха поднялась. Значит, всё же наступило утро. Будет ли это утро моим последним?

Я встал. Тело было тяжёлым, будто за ночь его набили мокрым сеном. Снял с гвоздя рубаху, натянул через голову. Вышел во двор. Ведро стояло у порога, там же, где я бросил его с вечера. Поднял и пошёл к колодцу – день начинался как любой другой, только я-то знал, что обычным он уже не будет.

* * *

Я не торопился. Нёс пустое ведро в одной руке и смотрел на деревню так, будто видел её впервые. Или в последний раз – это, пожалуй, ближе.

Прошёл мимо забора Мирны. Я как-то раньше и не задумывался, до чего же он кривой. Будто кто-то пьяный вкапывал столбы, а потом ещё более пьяный наколачивал доски. У Горлана из трубы поднимался дым, лениво расплзался по стальному небу. Раньше я как-то не обращал внимания, а сегодня вдруг заметил – красиво. У стены дома Тэма тянулась трещина – длинная, от окна до самой завалинки. Сколько раз проходил мимо, а заметил только теперь.

Дом стоял, как стоял всегда, да только держался уже на честном слове. А ведь у них скоро будет пополнение

У колодца никого не было. Зачерпнул. Вода свинцовая, тяжёлая, ведро налилось, плечо потянуло. Понёс обратно.

Обратно дорога шла мимо дома Сабы. И тут я сбавил шаг. Не знаю, почему, но я огляделся и увидел её. Девочку в окне. Она стояла и просто смотрела на меня.

Не испуганно. Не любопытно. Просто смотрела. Будто прощалась.

Я остановился, подумав, что это, возможно, и правда наше прощание. Такое вот несостоявшееся знакомство

Мы смотрели друг на друга секунду, две. Она не махнула, не улыбнулась. Но и не спряталась, как в прошлый раз, когда Саба её одёргивала. Она просто была – в окне, за мутным стеклом, по ту сторону, куда мне больше не перейти.

Я кивнул. Она кивнула в ответ. Так, чтобы никто не заметил – только бровь чуть поднялась да подбородок опустился на полпальца. И всё.

А потом окно потемнело: кто-то изнутри – должно быть, Саба – подошёл и придвинул ставню. Тихо, без слов. И девочки не стало видно.

Дома Жервена забрала ведро молча. Ушла в сени.

Я остался у крыльца. И тут снова поднялась та мысль, что лезла ещё вчера, я запихивал её обратно, а она опять вылезла.

Может, и правда пусть меня заберут? Ну чего мне тут делать? Кому я тут нужен? Там, где живут такие, как я, – небось и кормят, и не ненавидят за то, что ты просто есть.

Я отогнал её. Не от страха – просто вспомнил отца. «Не сдавайся», – тихо сказал он у меня в голове. Последний раз, как мне показалось, по-настоящему сильным голосом.

Я пошёл колоть дрова. Надо было что-то делать руками.

* * *

Крисп появился у калитки не со стороны улицы, а со стороны задов – как охотник, зашедший с тыла. Увидел меня не сразу. Постоял, оглядел двор, будто примеривался. Я не понял, чего он ждёт.

Когда подошёл, а подошёл он медленно, без суеты. Раньше он пружинил на шаг, хихикал, пихал в плечо и отскакивал. А сегодня шёл тяжело, по-хозяйски.

Встал в трёх шагах, скрестил руки. Он не улыбался, а ведь он всегда лыбился, когда подходил ко мне. А тут нет.

– Ну что, Мазок. Вот я и пришёл.

Я поставил полено на чурбак. Взял топор. Взмахнул. Полено расколосось надвое – одну половину отбросило, другая легла рядом.

– Бергуса я с утра навестил, – сказал Крисп. – Рассказал всё как есть.

Я поставил следующее полено. Ударил. Чище, чем вчера.

– Он задумался. Сказал, что подумает до обеда.

Врёт или нет – какая разница? Могу ли я что-то изменить? Не думаю. Я только стиснул топорнице и колол дальше.

Крисп сделал шаг ближе. Ещё один.

– Если ты сейчас не пойдёшь к Бергусу сам, я после обеда пойду второй раз. И тогда он уже не будет думать. – Крисп помолчал. – Ты понимаешь, как тебя повезут? Не повозкой. В клетке. Как скотину. Сперва изобьют, да! Извалиют в грязи, а потом на глазах у всей деревни погрузят в клетку! И увезут! А знаешь, кто ничего не скажет? Жервена. Но ведь и плакать не будет, да? Она обрадуется! Конечно, обрадуется!

Я снова замахнулся. Мимо. Полено отскочило, топорнице дёрнуло плечо. Не слушать его. Только не слушать. Подобрал полено, поставил ровнее, ударил опять.

Где-то далеко всплыл в голове голос отца: «Не давай им повода». Только звучал он тише обычного. Будто я лежал под водой и кто-то пытался до меня докричаться.

– А знаешь, – протянул Крисп почти лениво, – Борен-то твой, гляди, мужика из тебя растил. Не сдавайся, говорил, да? А ты стоишь да дрова колешь. Сдался давно, как есть сдался. Тьфу.

Что-то во мне опять надломилось. Слова попали куда надо, Крисп ударил в самое нежное, чего я никому не показывал. Рука сжалась на топорнице так, что костяшки побелели.

Я молчал.

– Ну что молчишь, Щенок? Сиротская мразь. Папка-то у тебя всё. Мамка давно. Один остался.

Голос отца прозвучал последний раз: «Не давай» – и оборвался. Не тише стал, нет. Оборвался.

В голове стало тихо. Совсем.

Крисп ухмыльнулся – понял, что смог вывести меня из себя. Дурак дураком, а нюх на чужую боль у него всегда был звериный.

Он сделал ещё шаг.

– Ну, давай же! Расплачься! Покажи, какого мужика воспитал твойдохлый папаша?

* * *

Крисп шагнул вплотную, ладонью толкнул меня в плечо. Не сильно – так, будто проверял, крепко ли я держусь на ногах.

Я качнулся, но устоял.

Второй раз толкнул сильнее. Я сделал шаг назад. Топор в руках налился весом, стал предательски оттягивать руку к земле.

Третий удар пришёлся в грудь. Я не удержался и упал на холодную землю. Топор отлетел к чурбаку, а я, стараясь смягчить падение, напоролся ладонью на щепку – острую, она тут же вошла под кожу.

Крисп был надо мной. Поднял ногу, поставил мне сапог на плечо. Не всем весом навалился, чтобы не сломать, но так, чтобы я не встал.

– Лежи, Порченный. Привыкай к земле.

Я смотрел на него. Видел его подбородок снизу – небритый, уже какой-то взрослый. А ведь всего на год старше меня. И за ним – небо, стальное, низкое, сплошь серое, без единого разрыва.

Голос отца пропал окончательно. В голове ударами пульсировало сердце. И тишина. Там, где был отец, сейчас появился мой собственный голос. Тихий и спокойный: «Он ведь убьёт меня. Не сегодня. Но убьёт – когда узнает, что я вытерплю всё. Зачем тогда терпеть?»

Это пришло разом. Не какой-то догадкой, нет. Знанием. И тогда меня отпустило. Всё, что держало меня годами, – страх, терпение, отцовское «не давай повода», – разом ослабло. Не порвалось даже. Просто отпустило, и стало всё равно.

Рука сама потянулась вверх, к сапогу Криспа. Сжала голенище, рванула вбок. Я не успел задуматься о том, что делаю, да и Крисп не ожидал от меня ничего такого. Вот он стоял надо мной, уверенный в своём превосходстве, а через мгновение его нога ушла из-под него. Он качнулся, замахал руками и, потеряв равновесие, упал.

Я уже был на ногах. Встал быстрее, чем успел осознать, что происходит. Крисп упал на бок, ударился и зашипел, а в его глазах я увидел страх. Впервые.

Не сильный. Секундный. Он словно не понял, что произошло. Будто дошло до него только одно: что-то пошло не так. Мазок, Порченный, Щенок вдруг оказался не таким уж и безобидным.

Он открыл рот. Начал:

– Да чтоб тебя...

И не договорил. Я не знаю, почему. Может, увидел что-то в моих глазах и осёкся. Я в тот момент будто и не я был. Сам себе чужой.

* * *

Топор лежал там, где я его выронил. Возле чурбака, рукоятью ко мне.

Я не повернулся, не посмотрел. Рука опустилась сама, нашла рукоять. Пальцы сжались. Я не понимал, что делаю, но каждое движение было чётким и выверенным.

Крисп приподнялся на локте. Увидел меня с топором. Уже второй раз за минуту открыл рот, чтобы что-то сказать и снова ничего не сказал.

И вот тут, за секунду до того, как я сделал, что сделал, – внутри у меня стало тихо. Не страшно. Тихо. Как в тот глухой час перед рассветом, когда даже петухи молчат.

Я даже не ударил. Просто рывок. Короткий и резкий. Сверху вниз.

Топор опустился. Тело Криспа обмякло. Я уж и не помню, выпустил я рукоять или не выпустил. Топор упал сам. Глухо и мягко, в траву.

И тогда опустилась тишина. Самая настоящая. Стихло дыхание, сердце перестало биться. Стих даже ветер. Я больше ничего не слышал. Смотрел на Криспа. Графитовая кровь растекалась под его телом.

Посмотрев на свои руки, я понял, что кровь была и на них. Машинально обтёр пальцы о другую ладонь. В левой ладони сидела заноза – та самая щепка, с падения. Я вытащил её, даже не почувствовав, и отбросил. Ранку тут же затянуло тёмным, и уже не разобрать было, где моя кровь, а где его.

Колени у меня ослабли. Не подломились совсем, но держали и не слушались, будто чужие. Во рту стало сухо и кисло. В голове – пусто. Будто на моём месте стоит кто-то другой. Мальчик по имени Рендар. Ему тринадцать лет. Он Тёмный. Он вор. И он – убийца.

И где-то очень глубоко, на самом дне, под всем этим оцепенением, всплыл вопрос – короткий, детский:

«Это сделал я?..»

* * *

И тут началось. То, что прежде только ворочалось во мне глухо, тёмным комом под рёбрами, – теперь проснулось всё разом. За грудиной рвануло – не болью. Жаром, да таким, что перехватило дыхание. Я хотел вдохнуть и не смог.

Я не двигался. Стоял, смотрел на Криспа. А внутри всё горело и распирало, будто рёбрам вдруг стало тесно. В ушах зазвенело, а потом треснуло. Было ощущение, что сам Сосуд во мне раскололся! Прошлый раз он как-то ныл, трещал, звенел – что угодно! А сейчас ощущения были такими, будто он окончательно треснул.

А потом Мир мигнул.

Не потемнел, нет. Не посветлел, но Мигнул.

Я смотрел на траву у сарая – серую, вечно серую. И вдруг, на мгновение, мне показалось, что она изменилась. Стала другой. Небо тоже подёрнулось рябью. Всё такое же тёмное, но уже не стальное. И кровь. Кровь Криспа не была графитово-чёрной.

Я моргнул. И всё вернулось на свои места. Всё стало, как обычно. Но на одну секунду, на одну короткую, короткую секунду – было иначе. И в этот миг у меня в голове, откуда-то из-под памяти, всплыл папин голос.

«Это всё тени, малыш. Вокруг лишь оттенки»

Папа сказал мне это когда-то. У Тихой, на рассвете, когда мы стояли у маминой могилы. Я тогда не понял – кивнул, и, видимо, я только сейчас начал осознавать, что же на самом деле мне хотел сказать папа.

* * *

Со стороны калитки раздались голоса. И я побежал. Не разбирая дороги, просто прочь: к калитке, через неё, на улицу. Бегу, бегу, бегу! Не оглядываюсь, не дышу, не думаю – только вперед.

Мимо дома Сабы. Мимо кузни Горлана, мимо колодца! Всё к чёрту! Вперёд! Мимо развилки! К реке! Два камня под большим деревом, у самой кромки берега – мамин и папин. Я не остановился, не сказал ни слова. Только скользнул взглядом по галечной горке на мамином и по одинокому камушку на папином, том, что я сам положил на похоронах. Побежал дальше.

Потом пошли поля. Серые, бесконечные, ещё днём казавшиеся дружелюбной окраиной моей деревни, а теперь – чужие, угольные, с голой стернёй, оставшейся от последней жатвы. Стерня била меня по ногам, жалила сквозь обмотки, вонзалась в ступни при каждом шаге, и я понимал, что сбиваю ноги в кровь, понимал – и не останавливался. Казалось, боль в ступнях чувствует кто-то другой, не я. Я только слышал, как она поднимается выше, до колен, до бёдер, и не находил в себе жалости. Потому что кого жалеть-то? Тёмного убийцу? Сиротскую мразь?

Прости меня, папа.

Я бежал и повторял это про себя – тихо, не губами, где-то под ключицами, там, где ещё гудело от трещины. Всё, чему ты учил, пап, – я сегодня переступил. Не давай им повода – дал. Терпи – не стерпел. Молчи – не смолчал. Ты бы меня таким не признал. И я себя не признаю.

Солнце ушло. Поля сменились перелеском, потом настоящим лесом – чёрным, густым, незнакомым. Ветки стегали по лицу, по плечам, по рукам, и я уже не закрывался – локтей не поднять было. Я спотыкался о корни, падал, вставал, снова спотыкался. Лес не хотел меня пускать, и я не винил его.

После очередного падения я не смог подняться. Встать просто не получилось – колени не послушались, руки подломились. Я остался на четвереньках, и передо мной – в антрацитовом мраке, куда почти не доставал лунный свет, – оказались мои ладони.

Я посмотрел на них.

На них было что-то тёмное. Липкое. Я подумал сначала, что это грязь. Сколько я сегодня падал, сколько земли разворошил? Конечно, грязь. Вытер о штаны, потом о подол. Потом ладонь о ладонь. Тёр до жжения, тёр пока руки не начали гореть от боли.

Но пятна не сходили. Как въевшийся дёготь.

Я знал, что это. Помнил короткий рывок топора. Но часть меня ещё не верила – как поверить в такое? Вот они, вот! Мои руки – в земле, в грязи, в каплях и подтёках. В крови. В чужой крови. Её тут быть не должно, а она есть и не уходит.

Прости меня, пап. Я знаю, что это.

Я снова попробовал оттереть их – тёр о штанину, совал в мох, в чёрную сырую подстилку леса. Думал: хоть земля заберёт, хоть ветер. Но лес меня не принимал. И пятна никуда не пропадали. Я встал, пошёл дальше, и тогда я услышал, что где-то впереди – вода.

* * *

Тихая. Да, моя милая подруга, что всю жизнь текла рядом и ни разу не повернулась ко мне ни добром, ни злом. Та самая река, у которой я спал, чей плоский свинцовый плёс знал, как собственную ладонь. Только сюда, далеко от деревни, я не забредал никогда – и здесь она оказалась совсем другой.

Я бежал к ней с последней мыслью, которая ещё держалась во мне: доберусь до реки – переплыву. Запутаю следы. Уйду так, чтобы ни деревня, ни стыд, ни погоня за мной никогда больше не догнали. Я представлял её себе прежней – спокойной, ровной, безмолвной.

Но Тихая встретила меня не так.

Она рычала.

Вода неслась вдоль берега мутным, тяжёлым, угольно-чёрным потоком, волны били о камни, разбрызгивая холодную пену, и шум её был не ровным деревенским журчанием, а низким, злым, почти звериным рокотом. Тянуло с реки металлом, сыростью, тиной со дна.

Я остановился на берегу. Не мог подойти.

Переплыть? Через это? Меня снесёт за первые пять шагов. Утащит, разобьёт о камни! И кто бы меня потом смог найти? Не запутал бы я никаких следов – их просто не осталось бы.

Я стоял на берегу, и внутри у меня что-то ещё раз треснуло – тихо, без жара на этот раз. Просто щёлкнуло. Вот и всё. Последняя вещь в мире, которую я считал своей, – моя Тихая, моя подруга, – и та обернулась против меня. Даже она.

Опустился на камень у самой кромки. Силы покинули меня, и просто ноги подкосились. Опустил в воду ступни, сбитые стернёй в кровь. Ледяная вода обожгла кожу, и я дёрнулся было, но остановил себя. Через мгновение боль ушла, и вода приняла мои ноги.

Сидел и дышал так, как ещё никогда не дышал в жизни – мелко, быстро, через нос. Горло саднило, пересохло, и каждый вдох ртом отдавал болью. И только теперь я заметил, что правый кулак у меня сжат. Всё это время, с того самого двора, с той самой минуты – сжат. Пальцы не хотели разгибаться; я разжимал их по одному. Тогда я увидел, что на ладони лежала подвеска. Тот самый амулет из кости демона, убившего мою маму. Кость впечаталась в кожу ровной полосой – так крепко я её стискивал, что, стоило разжать руку, и место заныло.

Опустив руки в воду, я тёр их, тёр, поднимал к глазам, снова тёр. И вода была чёрной от моих рук, чистила их и проходила мимо, а пятна на ладонях оставались.

Я заслужил эти следы. Теперь это со мной. Двор. Крисп. Топор.

И тогда я заговорил. Сам с собой. Громко. Вслух, почти криком в ночь и в реку:

– Что я наделал?

Собственный голос показался мне незнакомым. Старше, тяжелее. Какой-то хриплый. Я не узнавал в нём себя. Испугался и переспросил, но уже про себя:

«Что я наделал?»

Я сломал что-то, чего уже не смогу починить. Сломал. И всё. Смотрел в могильное небо, высокое и глухое, и ждал. Сам не знал, чего. Ответа не было и не будет.

* * *

Не знаю, сколько я так сидел. Минуту, час, полночи – время во мне сбилось ещё когда рука потянулась к топору. Но постепенно, очень медленно, я начал слышать реку по-другому.

Она рычала, да. Но рычание было не злое, просто громкое. Ветер поднял волну, ночью всё кажется сильнее, чем есть, а река – она всё та же Тихая. Та же безразличная. Она не против меня. Она просто река.

И тогда ко мне пришла мысль, последняя ясная мысль этой ночи. Короткая и простая: на том берегу меня никто не будет искать. На том берегу – другой лес, другие поля, другие люди, если они там вообще есть. На том берегу – не деревня. Значит, нужно бежать туда.

Встал. Колени дрожали, но держали. Снял обмотки, намотал их на шнурок с подвеской, заткнул за пазуху, чтобы не унесло. И вошёл в воду.

Холод пробрал сразу до костей. Течение толкнуло в бок, и я чуть не упал в первые же три шага, но удержался, шагнул дальше, и ещё дальше, и когда дно ушло из-под ног, я лёг на воду и погрёб.

Река тащила вниз, гнала к тому берегу по диагонали. Я не спорил. Просто грёб, чтобы не тонуть, чтобы голова держалась над поверхностью. Рубаха налилась, тянула, я боялся, что утопит, но дыхания хватало.

Выбравшись на другом берегу, я понял, что не заметил, как прошла переправа. Я просто плыл, несколько раз опускался под воду, выныривал и снова плыл. Плыл, плыл, плыл! А в какой-то момент почувствовал под ногами ил, потом гальку. Потом я пополз. На четвереньках, как в лесу. Потом я упал, лежал, хрипел и дрожал. Весь мокрый, продрогший до самых костей.

Тихая осталась за спиной. Шумела по-прежнему, но уже не злая. Но и не моя.

Не знаю, на каком усилии, но я заставил себя подняться. Пошёл от воды вглубь леса. А он на том берегу был чуть реже нашего, под ногами хрустела сухая хвоя. Шагов через тридцать

я наткнулся на дерево, давно поваленное ветром, с вывороченными корнями и промоиной под ними. Под корнями было сухо, пахло землёй. Я забился туда, поджал колени к груди.

Лёг на бок – лицом к выходу промоины, к небу, которое проглядывало сквозь корни.

Где-то далеко шумела река, я ещё слышал её. Слышал и своё дыхание. Своё сердце. Кажется, что в этом шуме уходящей жизни я слышал и свой Сосуд. А потом перестал слышать. Я просто провалился в сон. Нет. Не в сон. Глубже. Туда, где была лишь тьма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.